

Короткие рассказы из сборника “100 избранных рассказов” О. Генри:

- Дары волхвов
- Космополит в кафе
- Перерыв между раундами
- Комната с мансардным окном
- Служба любви
- Воскресение Мэгги
- Полицейский и гимн
- Мемуары желтой собаки
- Любовный напиток Ики Штенштейна
- Обставленная комната
- Последний лист
- Поэт и крестьянин
- Прогулка при афазии
- Муниципальный отчет
- Доказательство пудинга

Дары волхвов

ОДИН ДОЛЛАР И ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ ЦЕНТОВ. Вот и всё. Из них шестьдесят центов были в пенни. Пенни, которые она откладывала по одной-две монетки, выторговывая у бакалейщика, торговца овощами и мясника, пока её щёки не начинали гореть от молчаливого упрека в скупости, который подразумевала такая экономия. Делла пересчитала деньги трижды. Один доллар и восемьдесят семь центов. А завтра – Рождество.

Очевидно, не оставалось ничего другого, кроме как плюхнуться на старенький потрёпанный диван и зарыдать. Что Делла и сделала. Это наталкивает на моральный вывод: жизнь состоит из рыданий, всхлипов и улыбок, причём всхлипы преобладают.

Пока хозяйка дома постепенно переходит из первой стадии во вторую, взглянем на её жилище. Это была меблированная квартира за 8 долларов в неделю. Она не выглядела совершенно убогой, но определённо заставляла это слово держаться настороже, будто вот-вот явится отдел по делам нищих.

Внизу, в вестибюле, находился почтовый ящик, в который не попадало ни одно письмо, и электрический звонок, который не удавалось заставить зазвонить ни одному смертному. Также рядом висела карточка с именем «Мистер Джеймс Диллингам Янг».

Когда-то, в более благополучные времена, этот «Диллингам» гордо развевался, пока его обладатель получал 30 долларов в неделю. Теперь же, когда доход сократился до 20 долларов, буквы «Диллингам» выглядели размытыми, словно раздумывали, не сократиться ли им до скромной и непритязательной «Д.». Но всякий раз, когда мистер Джеймс Диллингам Янг возвращался домой и поднимался в свою квартиру, его называли просто «Джим», и он попадал в крепкие объятия миссис Джеймс Диллингам Янг, уже знакомой вам как Делла. Что, в общем-то, было вполне неплохо.

Делла закончила плакать и принялась приводить лицо в порядок с помощью пудры. Она подошла к окну и уныло посмотрела наружу – на серого кота, идущего по серому забору во дворе, где всё было серым. Завтра – Рождество, а у неё всего 1 доллар и 87 центов, чтобы купить Джиму подарок. Она экономила каждую копейку, какую могла месяцами коплений – и вот результат. Двадцать долларов в неделю – этого совсем мало.

Расходы оказались выше, чем она рассчитывала. Так бывает всегда. Всего 1 доллар и 87 центов, чтобы купить подарок для Джима. Её Джима. Она провела немало счастливых часов, придумывая, что бы ему подарить. Что-то прекрасное, редкое, достойное – что-то почти соответствующее чести принадлежать Джиму.

Между окнами в комнате висело трюмо. Возможно, вы видели такое зеркало в квартире за 8 долларов в неделю. Очень худой и гибкий человек, если посмотрит в него, быстро двигаясь, может увидеть своё отражение в виде ряда продольных полос и получить довольно точное представление о своём внешнем виде. Делла, будучи стройной, овладела этим искусством.

Вдруг она резко отвернулась от окна и встала перед зеркалом. Её глаза ярко блестели, но лицо побледнело за считанные секунды. Быстро она расстегнула заколки, и её волосы упали вниз, развернувшись во всю длину.

Теперь, в семье Джеймсов Диллингамов Янг, было две вещи, которыми они очень гордились. Одна – это золотые часы Джима, которые принадлежали его отцу и деду. Вторая – волосы Деллы.

Если бы царица Савская жила в квартире напротив, Делла в какой-нибудь день развесила бы свои волосы за окном, чтобы затмить её драгоценности. Если бы царь Соломон был тут дворником и хранил все свои сокровища в подвале, Джим всякий раз доставал бы свои часы, проходя мимо, чтобы увидеть, как тот дёргает свою бороду от зависти.

Теперь же роскошные волосы Деллы струились вокруг неё, переливаясь и сверкая, словно водопад из каштанового шёлка. Они спадали ниже её колен, почти как одежда. Затем она быстро и нервно снова заколола их. На мгновение замерла, и на тёртый красный ковёр упало две слезинки.

Она накинула старый коричневый жакет, надела старую коричневую шляпку. Взмахнув юбками, с всё ещё горящими глазами, она выскользнула за дверь, сбежала вниз по лестнице и оказалась на улице.

Она остановилась перед вывеской:

“Мадам Софрони. Все виды изделий из волос.”

Делла взбежала на этаж, перевела дыхание.

Мадам была крупной, слишком бледной и холодной, и выглядела совсем не по-софронски.

— Вы купите мои волосы? — спросила Делла.

— Покупаю волосы, — ответила мадам. — Снимай шляпу, посмотрим, что у тебя есть.

Каштановый водопад снова разлился вниз.

— Двадцать долларов, — сказала мадам, взвесив густую прядь в опытной руке.

— Дайте мне деньги быстрее, — сказала Делла.

О, и следующие два часа пролетели на розовых крыльях. Забудьте это затёртое выражение. Она обошла все магазины в поисках подарка для Джима.

Наконец, она его нашла. Как будто он был создан специально для Джима и ни для кого больше. В других магазинах ничего подобного не было, а она перевернула их все вверх дном. Это была платиновая цепочка для часов, простая и изящная, сдержанно демонстрирующая свою ценность за счёт материала, а не кричащего декора — как и все по-настоящему хорошие вещи. Он был достоин этих часов.

Как только Делла её увидела, она поняла — это должно быть у Джима. Она была похожа на него. Строгость и ценность — эти слова подходили и для цепочки, и для её мужа.

За неё взяли с неё 21 доллар, и она поспешила домой с оставшимися 87 центами.

С такой цепочкой Джим мог бы смело доставать свои часы в любой компании. Ведь, несмотря на всю их величественность, он иногда стеснялся смотреть на них на людях — потому что вместо цепочки у него был старый кожаный ремешок.

Когда Делла вернулась домой, эйфория немного уступила место здравому смыслу и осторожности.

Она достала щипцы для завивки, зажгла газ и принялась исправлять ущерб, нанесённый любовью и щедростью. А это всегда нелёгкая задача, дорогие друзья — просто титанический труд.

Через сорок минут её голову покрывали маленькие, плотно прилегающие кудряшки, из-за которых она теперь напоминала школьника-прогульщика.

Она долго, внимательно и критично смотрела на себя в зеркало.

— Если Джим меня не убьёт, — сказала она себе, — то после второго взгляда обязательно скажет, что я похожа на певичку с Кони-Айленда. Но что я могла сделать? О, что я могла сделать с одним долларом и восемьдесятю семью центами?

К семи часам кофе был готов, а на задней конфорке плиты грелась сковорода, ожидая, когда на ней зажарят отбивные.

Джим никогда не опаздывал.

Делла сжала цепочку в руке и села на угол стола рядом с дверью, через которую он всегда входил.

Она слышала его шаги на лестнице — ещё далеко, на первом пролёте. На секунду её лицо побледнело.

Она всегда имела привычку тихо молиться о самых простых вещах, и теперь она прошептала:

— Господи, пожалуйста, пусть он всё равно считает меня красивой.

Дверь открылась, и Джим вошёл. Закрыв её за собой, он остановился.

Он выглядел худым и очень серьёзным.

Бедняга, ему всего двадцать два — а уже столько забот!

Ему нужен был новый плащ, и у него не было перчаток.

Джим вошёл в дверь и замер на месте, как охотничий пёс, почуявший перепела.

Его глаза были прикованы к Делле, и в них застыло выражение, которого она не могла понять — и это её напугало.

Это не было ни гневом, ни удивлением, ни неодобрением, ни ужасом, ни чем-то ещё, к чему она готовилась.

Он просто смотрел на неё, не отводя взгляда, с этим странным выражением на лице.

Делла спрыгнула со стола и бросилась к нему.

— Джим, дорогой, — воскликнула она. — Не смотри на меня так!

— Я подстригла волосы и продала их, потому что не смогла бы встретить Рождество, не подарив тебе подарок.

— Они снова отрастут – тебе ведь всё равно, правда?

— Мне пришлось это сделать.

— Мои волосы растут очень быстро.

— Скажи “Счастливого Рождества!”, Джим, и давай радоваться.

— Ты даже не представляешь, какой чудесный – какой прекрасный подарок я тебе приготовила!

— Ты... подстригла свои волосы? — медленно переспросил Джим, словно ему было трудно осознать этот очевидный факт, даже после упорных размышлений.

— Подстригла и продала, — повторила Делла.

— Но ты же любишь меня такой же, да?

— Я ведь всё та же Делла, даже без волос, правда?

Джим оглядел комнату с почти глупым выражением лица.

— Ты говоришь, твоих волос больше нет?

— Можешь не искать их, — сказала Делла. — Я же сказала – они проданы. Проданы и ушли.

— Сегодня Сочельник, Джим.

— Будь добр ко мне, ведь я сделала это ради тебя.

— Возможно, каждый волосок на моей голове был сочтён, — продолжала она с неожиданной серьёзностью, — но никто не смог бы сосчитать, как сильно я тебя люблю.

— Мне поставить отбивные, Джим?

Джим, словно выйдя из транса, вдруг очнулся.

Он обнял свою Деллу.

(На десять секунд отвернёмся и тактично рассмотрим что-нибудь незначительное в другой стороне.)

Восемь долларов в неделю или миллион в год – какая разница?

Математик или остролов дал бы вам неправильный ответ.
Мудрецы принесли драгоценные дары, но среди них не было этого.
Позже эта тёмная мысль прояснится.

Джим достал из кармана пальто свёрток и бросил его на стол.
— Не пойми меня неправильно, Делл, — сказал он.
— Нет такой причёски, стрижки или даже бритья, которые могли бы заставить меня любить тебя меньше.
— Но если ты развернёшь этот пакет, ты поймёшь, почему в первый момент я так странно себя вёл.

Белые, быстрые пальцы рванулись к верёвке и бумаге.
И затем — восторженный крик радости.
А затем — увы! — мгновенный женский переход к истерическим слезам и рыданиям, требующим немедленного утешения со стороны хозяина квартиры.
Ибо там лежали Гребни — тот самый набор: боковые и задний, которыми Делла восхищалась уже долгое время, разглядывая их в витрине на Бродвее.
Прекрасные гребни, из чистого черепахового панциря, с инкрустированными краями — идеального оттенка, чтобы носить в её теперь уже исчезнувших волосах.
Она знала, что эти гребни дорогие, и её сердце томилось и жаждало их, но безо всякой надежды когда-либо обладать ими.
И вот они теперь её.
Но кудрей, ради которых были созданы эти украшения, больше не было.
Но Делла прижала их к груди, и, наконец, смогла поднять глаза сквозь слёзы, улыбнуться и сказать:
— Мои волосы так быстро отрастают, Джим!

И тут она вскочила, словно маленькая обожжённая кошка, и вскрикнула:
— Ох! Ох!

Джим ещё не видел свой прекрасный подарок.
Она протянула его ему на раскрытой ладони, вся в нетерпении.
Тусклый драгоценный металл, казалось, вспыхнул отражением её яркого, восторженного духа.

— Разве он не чудесный, Джим?
— Я обошла весь город, чтобы найти его.
— Теперь ты будешь смотреть на время по сто раз на день!
— Дай мне свои часы, хочу посмотреть, как он на них смотрится.

Но вместо того чтобы послушаться, Джим рухнул на диван, заложил руки за голову и улыбнулся.
— Делл, — сказал он, — давай уберём наши рождественские подарки и пока не будем ими пользоваться.

— Они слишком хороши, чтобы использовать их прямо сейчас.
— Я продал часы, чтобы купить тебе эти гребни.
— А теперь, может, поставишь отбивные?

Мудрецы, как известно, были люди премудрые.
Они принесли дары Младенцу в яслях.
Они изобрели искусство дарить рождественские подарки.
Будучи мудрыми, их дары, несомненно, были осмысленными.
Возможно, даже с возможностью обмена, если вдруг совпадут.

А я здесь неуклюже пересказал вам простую историю о двух глупых детях, живущих в дешёвой квартирке, которые с величайшей неразумностью пожертвовали друг для друга самым дорогим, что у них было.
Но в завершении для сегодняшних мудрецов следует сказать:
из всех, кто дарит подарки, эти двое были самыми мудрыми.
Из всех, кто дарит и принимает подарки, они – самые мудрые.

Повсюду они – самые мудрые.

Они и есть настоящие волхвы.

II. Космополит в кафе

В полночь кафе было переполнено. По какой-то случайности маленький столик, за которым я сидел, ускользнул от внимания входящих, и два свободных стула протянули свои руки с корыстным гостеприимством, принимая наплыв посетителей.

И вот, космополит сел за один из них, и я был рад, потому что придерживался теории, что после Адама настоящих граждан мира не существовало. Мы о них слышим, и на многих багажах видим иностранные ярлыки, но вместо космополитов находим путешественников.

Прошу вас представить себе сцену — столики с мраморными столешницами, ряды обитых кожей сидений вдоль стен, веселая компания, дамы, одетые в полуофициальные туалеты, говорящие в изысканном хоре вкуса, экономии, роскоши или искусства, усердные и щедрые официанты, музыка, умело обслуживающая всех своими набегам композиторов; смесь разговоров и смеха — и, если хотите, вюрцбург в высоких стеклянных конусах, которые наклоняются к вашим губам, как спелая вишня качается на своей ветке перед клювом воровской сороки. Скульптор из Мауч Чанка сказал мне, что сцена действительно парижская.

Моего космополита звали Э. Рашмор Коглан, и о нем услышат в следующем летом на Кони-Айленде. Он собирался открыть там новую «аттракцию», предложив королевские развлечения. И затем его разговор звучал вдоль параллелей широты и долготы. Он взял большой круглый мир в свою руку, так

сказать, фамильярно, с презрением, и он казался не больше, чем косточка мараскинской вишни в грейпфруте на столе. Он неуважительно отнесся к экватору, перескакивал с континента на континент, высмеивал зоны, вытирая высокие моря салфеткой. Взмахнув рукой, он рассказывал о каком-то базаре в Хайдарабаде. Шшш! Он вел вас на лыжах в Лапландию. Цып! Вот вы уже катались на волнах с канаканами в Кеалаикахики. Престо! Он протащил вас через болотистую рощу дубов в Арканзасе, позволил немного обсохнуть на щелочных равнинах своего ранчо в Айдахо, затем завертел вас в обществе венских эрцгерцогов. Затем он рассказывал, как подхватил простуду от озерного бриза в Чикаго и как старый Эскамила вылечил её в Буэнос-Айресе горячим отваром чучулы. Вы бы адресовали письмо на имя «Э. Рашмор Коглан, эсквайр, Земля, Солнечная система, Вселенная» и отправили его, будучи уверенным, что оно дойдет до него.

Я был уверен, что наконец-то нашел настоящего космополита с поры Адама, и слушал его мировую беседу, опасаясь, что в ней я все-таки найду местный акцент простого путешественника. Но его размышления никогда не колебались и не менялись, он был столь же беспристрастен к городам, странам и континентам, как ветры или гравитация.

И пока Э. Рашмор Коглан болтал об этой маленькой планете, я с радостью думал о великом почти-космополитике, который писал для всего мира и посвятил себя Бомбее. В одном стихотворении он говорит, что между городами Земли существует гордость и соперничество, и что «мужчины, что из них рождаются, они торгуют налево и направо, но цепляются за край своих городов, как ребенок за платье матери». И когда они гуляют «по ревающим незнакомым улицам», они помнят свой родной город «самый верный, глупый, любящий; делаю его имя своей связью всвязи». И моя радость усилилась, потому что я застал мистера Киплинга врасплох. Вот я нашел человека, не сделанного из пыли; того, кто не хвастается узкими понятиями о месте рождения или родной стране, того, кто, если и хвастался бы, то хвастался бы своим целым круглым земным шаром против марсиан и обитателей Луны.

Выражение этих тем Э. Рашмором Когланом было прервано третьим лицом из другого угла нашего стола. Пока Коглан описывал мне топографию вдоль Сибирской железной дороги, оркестр стал играть попури. Заключительной мелодией была «Дикси», и когда веселые ноты заполнили пространство, они были почти заглушены мощными аплодисментами со всех столов.

Стоит отметить, что эту замечательную сцену можно увидеть каждый вечер в многочисленных кафе города Нью-Йорка. Множество теорий было выдвинуто, чтобы объяснить это явление. Некоторые поспешили предположить, что все южане города, вы знаете, после войны, приходят в кафе к ночи. Эти аплодисменты «мятежной» мелодии в северном городе действительно немного озадачивают; но это не непостижимо. Война с Испанией, многолетние щедрые урожаи мяты и арбузов, несколько побед в лотерее на ипподроме в Новом Орлеане и блестящие банкеты, организованные гражданами Индианы и Канзаса

, которые составляют Северокаролинское общество, сделали Юг достаточно «модным» на Манхэттене. Ваша маникюрщица тихо прошепчет, что ваш левый указательный палец напоминает ей так сильно пальцы джентльмена из Ричмонда, Вирджиния. О, конечно; но многие дамы теперь должны работать. Когда играли «Дикси», темноволосый молодой человек вскочил с какого-то места с криком партизан из Мосби и яростно замахал своей шляпой с мягким ободом. Затем он побрел через дым, уселся на пустое кресло за нашим столом и достал сигареты.

Вечер переставал быть томным. Один из нас упомянул три Вюрцбургера официанту; темноволосый молодой человек подтвердил заказ улыбкой и кивком головы. Я поспешил задать ему вопрос, потому что хотел проверить свою теорию.

«Не возражаете, если я спрошу», — начал я, — «вы из...»

Кулак Э. Рашмора Коглана стукнул по столу, и я был поражен молчанием.

«Прошу прощения, — сказал он, — но это вопрос, который мне не нравится слышать. Что за разница, откуда человек? Справедливо ли судить о человеке по его почтовому адресу? Я видел кентавров, которые ненавидели виски, вирджинцев, которые не были потомками Покахонтас, индейцев, которые не писали романов, мексиканцев, которые не носили бархатные брюки с пришитыми серебряными долларами по швам, странных англичан, расточительных янки, хладнокровных южан, ограниченных западников и нью-йоркцев, которые были слишком заняты, чтобы на час остановиться на улице и посмотреть, как продавец в одном магазине запаковывает клюкву в бумажные пакеты. Пусть человек будет человеком, и не ограничивайте его ярлыком какого-либо места.»

«Извините, — сказал я, — но моя любопытность была не совсем праздной. Я знаю Юг, и когда оркестр играет “Дикси”, мне нравится наблюдать. Я пришел к убеждению, что человек, который аплодирует этой мелодии с особой яростью и явной региональной лояльностью, неизменно является уроженцем или Секокус, штат Нью-Джерси, или района между Мюррей-Хилл Лицей и рекой Гарлем в этом городе. Я собирался проверить свое предположение, задав этот вопрос этому джентльмену, когда вы прервали меня с вашей собственной — более широкой теорией, должен признать.»

И вот темноволосый молодой человек заговорил со мной, и стало очевидно, что его мысли также движутся по своим собственным канавкам.

«Я бы хотел быть морским цветком, — сказал он загадочно, — на вершине долины и петь ту-ра-лу-ра-лу.»

Это было явно слишком туманно, и я снова обратился к Коглану.

«Я объехал мир двенадцать раз, — сказал он. — Я знаю эскимоса в Упернавике, который заказывает галстуки в Синсиннати, и видел козовода в Уругвае, который выиграл приз в конкурсе на завтрак Battle Creek. Я плачу аренду за комнату в Каире, Египет, и еще одну в Йокогаме круглый год. У меня есть тапочки, которые ждут меня в чайном доме в Шанхае, и мне не нужно говорить им, как варить мои яйца в Рио-де-Жанейро или Сиэтле. Это маленький старый мир. Зачем хвастаться тем, что ты с Севера, с Юга, из старого манорного дома в долине, с Юклидовой авеню в Кливленде, с Пайк-Пика или из округа Фэрфакс, Вирджиния, или с Хулигановых низин или еще откуда-то? Мир будет лучше, когда мы прекратим быть дураками из-за какого-то обветшалого города или десяти акров болотистой земли только потому, что мы там родились.»

«Вы, похоже, настоящий космополит, — сказал я восхищенно. — Но также кажется, что вы осуждаете патриотизм.»

«Реликт каменного века, — заявил Коглан с жаром. — Мы все братья — китайцы, англичане, зулусы, патагонцы и люди из изгиба реки Кав. Когда-нибудь вся эта мелочная гордость за свой город, штат, часть страны будет стерта, и мы все будем гражданами мира, как и должно быть.»

«Но пока вы путешествуете по чужим землям, — продолжал я, — не возвращаются ли ваши мысли к какому-то месту — к какому-то дорожному и...»

«Никакому месту, — перебил меня Э. Р. Коглан легкомысленно. — Земля, этот глобус, планетарный кусок материи, слегка сплюснутый у полюсов, известный как Земля, — это мой дом. Я встретил немало привязанных к местам граждан этой страны за границей. Я видел, как мужчины из Чикаго сидели в гондоле в Венеции в лунную ночь и хвастались своим каналом. Я видел южанина, который при знакомстве с королем Англии передал этому монарху, не моргнув глазом, информацию, что его прабабушка по материнской линии была связана браком с Перкинсами из Шарлоты. Я знал нью-йоркца, которого похитили для выкупа афганские бандиты. Его родственники выслали деньги, и он вернулся в Кабул с агентом. «Афганистан?» — сказали местные через переводчика. «Ну, не так уж медленно, не правда ли?» «О, не знаю, — говорит он, — и начинает рассказывать им о таксисте на Шестой авеню и Бродвее. Такие идеи мне не подходят. Я не привязан ни к чему, что не имеет диаметра 8 000 миль. Просто запишите меня как Э. Рашмор Коглан, гражданин Земного шара.»

Мой космополит попрощался и ушел, потому что ему показалось, что он через шум и дым увидел кого-то знакомого. И я остался с тем, кто хотел быть морским цветком, и который оказался снова с Вюрцбургерами, не имея больше сил выразить свои стремления в пении на вершине долины.

Я сидел, размышляя о своем очевидном космополите и задаваясь вопросом, как поэт мог его не заметить.

Он был моим открытием, и я верил в него. Как там было? «Мужчины, происходящие от них, они перемещаются туда-сюда, но цепляются за подол своих городов, как ребенок за платье матери.»

Но это не так с Э. Рашмором Когланом. Для него весь мир был его...

Мои размышления были прерваны громким шумом и борьбой в другой части кафе. Я увидел над головами сидящих гостей Э. Рашмора Коглана и незнакомца, с которым он вел ужасную битву. Они сражались между столами, как титаны, стаканы разбивались, мужчины поднимали свои шляпы и падали, брюнетка кричала, а блондика начала петь «Teasing».

Мой космополит поддерживал гордость и репутацию Земли, когда официанты схватили обоих участников драки своим знаменитым «летающим клином» и вынесли их наружу, все еще сопротивляющихся.

Я позвал МакКарти, одного из французских официантов, и спросил его о причине конфликта.

«Тот человек в красном галстуке» (это был мой космополит), сказал он, «разозлился из-за того, что другой парень сказал что-то про убогие тротуары и водоснабжение места, откуда он родом.»

«Почему,» сказал я, смущенный, «этот человек — гражданин мира, космополит. Он ...»

«Родом из Матавамкеага, штат Мэн, — сказал он, — и он не потерпит, чтобы кто-то критиковал это место.»

III

Между раундами

Майская луна ярко светила на частный пансион мадам Мерфи. Ссылаясь на календарь, можно понять, что ее лучи освещали обширную территорию. Весна была в разгаре, и скоро должна была начаться аллергия на пыльцу. Парки зеленели от новых листьев, а покупатели для западной и южной торговли уже были на месте. Цветы и агенты летних курортов цвели и пахли; воздух и ответы на вопросы Лоусона становились все мягче; органчики, фонтаны и пинокль играли повсюду.

Окна пансиона мадам Мерфи были открыты. Группа постояльцев сидела на высокой ступеньке, на круглых, плоских ковриках, как немецкие олады.

В одном из окон на втором этаже миссис МаКаски ожидала своего мужа. Ужин остывал на столе. Его тепло передавалось миссис МаКаски.

В девять часов мистер МаКаски пришел. Он нес пиджак на руке, а в зубах у него была трубка; он извинился перед постояльцами за то, что нарушил тишину на ступеньках, выбирая места на камне, на которых поставить свои ботинки 9 размера, ширина D.

Когда он открыл дверь своей комнаты, его ожидал сюрприз. Вместо привычной крышки от плиты или картофелемешалки, от которых он обычно уклонялся, его ожидали только слова.

Мистер МаКаски полагал, что ласковая майская луна смягчила сердце его супруги.

«Я слышала тебя», — сказала она, заменяя кухонную утварь словами. «Ты можешь извиняться перед уличной швалью, за то что наступил им на подола их платьев, но ты бы прошел по шее своей жены на всю длину бельевого веревки, и даже не сказал бы: „Поцелуй меня, глупая!“ Я уверена, что ты не забываешь это также долго, как только смотришь в окно и еда остывает, такая, какая есть, с деньгами, которые ты тратишь в „Галлахере“ каждую субботу, а газовщик приходил сюда дважды сегодня за своим.»

«Женщина!» — сказал мистер МаКаски, сбрасывая пиджак и шляпу на стул, — «Шум твой — это оскорбление для моего аппетита. Когда ты занижаешь вежливость, ты забираешь раствор между кирпичей основ общества. Это не более чем упражнение в вежливости джентльмена, когда ты просишь недовольных дам отойти с пути, чтобы пройти между ними. Ты выведешь свиную морду из окна и позаботишься о еде?»

Миссис МаКаски тяжело встала и пошла к плите. В ее поведении было что-то такое, что насторожило мистера МаКаски. Когда уголки ее губ вдруг опустились, как барометр, это обычно предвещало швыряние посуды и кухонной утвари.

«Свиная морда, да?» — сказала миссис МаКаски и швырнула в своего мужа кастрюлю с беконом и репой.

Мистер МаКаски не был новичком в словесных перепалках. Он знал, что должно быть после закуски. На столе стоял жареный поросенок, украшенный клевером. Он бросил его в ответ и отправил воздушный поцелуй в виде хлебного пудинга в глиняной посуде. Кусок швейцарского сыра, точно брошенный ее мужем, ударил миссис МаКаски прямо под глаз. Когда она ответила, метнув горячий черный кофе в кофейнике, битва, как и полагается по плану, должна была закончиться.

Но мистер МаКаски не был человеком, сидящим за дешевым столиком в кафе. Пусть дешевые богемцы считают кофе завершением, если хотят. Пусть делают этот фальшивый шаг. Он был хитрее. Пальчиковые чаши были ему знакомы не понаслышке. Их не было в пансионе Мерфи, но их эквивалент был под рукой. Торжествующе он метнул гранитную умывальную чашу в голову своей супруге-противнице. Миссис МаКаски увернулась вовремя. Она потянулась за утюгом, которым, как неким лекарством, она надеялась завершить гастрономическую дуэль. Но громкий, пронзительный крик снизу заставил и ее, и мистера МаКаски приостановиться, в невольном армейском перемирии.

На тротуаре у дома стоял полицейский Клири, с поднятым ухом, слушая грохот посуды.

«Это снова Джон МаКаски и его миссис», — размышлял полицейский. «Стоит ли мне пойти наверх и прекратить шум. Нет, не пойду. Жена с мужем; то ли у них радости. Это не продлится долго. Конечно, им придется одолжить еще несколько тарелок, чтобы продолжать так шуметь.»

И в этот момент расслышался громкий крик снизу, что означало страх или крайнюю опасность.

«Это, наверное, кошка», — сказал полицейский Клири и поспешил в другую сторону.

Постояльцы на ступеньках были взволнованы. Мистер Туми, страховщик с рождения и следователь по профессии, вошел внутрь, чтобы проанализировать крик. Он вернулся с новостью, что маленький мальчик миссис Мерфи, Майк, пропал. Вслед за ним выбежала миссис Мерфи — двести фунтов слез и истерики, хватая воздух и вопя в небо из-за потери тридцати фунтов веселья и шалостей. Любовь, правда; но мистер Туми сел рядом с мисс Пёрди, шляпницей, и их руки встретились в сочувствии. Две старые девы, мисс Уолш, которые жаловались каждый день на шум в коридоре, сразу же спросили, не смотрел ли кто-нибудь за часами.

Майор Григг, который сидел рядом со своей толстой женой на верхней ступеньке, встал и застегнул пальто. «Малыш пропал?» — воскликнул он. «Я прочешу весь город.» Его жена никогда не позволяла ему выходить после темноты. Но теперь она сказала: «Иди, Людовик!» баритоном. «Тот, кто может смотреть на горе этой матери, не поспешив на помощь, тот имеет сердце из камня.» «Дай мне тридцать или шестьдесят центов, дорогая», — сказал майор. «Пропавшие дети иногда уходят далеко. Мне может понадобится деньги на транспорт.»

Старик Денни, жилец на четвертом этаже, сидел на нижней ступеньке, пытаясь читать газету при уличном фонаре, перевернул страницу, чтобы продолжить

читать статью о забастовке плотников. Миссис Мерфи вскрикивала на луну: «О, Майк, ради Бога, где мой маленький мальчик?»

«Когда ты его последний раз видела?» — спросил старик Денни, одним глазом следя за отчетом о профсоюзе строителей.

«О, — выла миссис Мерфи, — вчера, или, может быть, четыре часа назад! Не знаю. Но он пропал, мой маленький Майк. Он играл на тротуаре только сегодня утром — или это было в среду? Я так занята на работе, что трудно уследить за датами. Но я проверила дом сверху донизу, и его нет. О, ради святые Небеса...» Тихий, мрачный, колоссально большой город всегда стоит против своих обидчиков. Они называют его твердым как железо; говорят, что в его груди не бьется пульс сочувствия; они сравнивают его улицы с одинокими лесами и пустынной лавой. Но под жестким панцирем омара находится вкусная и сочная пища. Возможно, следовало бы выбрать другой аналог. Однако никто не должен обижаться. Мы не будем называть никого омаром без хороших примечательных клешней.

Никакая беда не касается человеческого сердца так сильно, как пропажа маленького ребенка. Их ноги такие неуверенные и слабые; пути такие крутые и странные.

Майор Григг поспешил к углу и вверх по авеню в «Биллиное место». «Дай мне большой стакан ржаного», — сказал он официанту. «Не видел ли ты тут какого-нибудь грязного, кривоногого маленького дьяволенка шестилетнего, заблудившегося?»

Мистер Туми держал руку мисс Пёрди на ступеньках. «Подумай о том милом ребенке», — сказала мисс Пёрди, — «потерянном от своей матери — возможно, уже упавшем под железные копыта галопирующих коней — о, не ужасно ли это?»

«Не так ли?» — согласился мистер Туми, сжимая ее руку. «Скажи, и я начну искать!»

«Возможно», — сказала мисс Пёрди, — «ты должен. Но о, мистер Туми, ты такой решительный — такой беспечный — а что, если в твоём энтузиазме что-то случится с тобой, что тогда...»

Старик Денни продолжал читать о соглашении о посредничестве, одним пальцем следя за строками.

На втором этаже миссис и мистер МаКаски подошли к окну, чтобы перевести дух. Мистер МаКаски вынимал репу из жилета кривым указательным пальцем, а его жена вытирала глаз, который не спасло от соли жареного поросенка. Они слышали шум снизу и высунули головы из окна.

«Это Майк пропал», — сказала миссис МаКаски приглушенным голосом, — «этот прекрасный маленький ангел-мальчишка!»

«Мальчик пропал?» — сказал мистер МаКаски, высовываясь из окна. «Ну, это достаточно плохо, совсем не весело. Дети, они такие разные. Если бы это была моя женщина, я бы не возражал, потому что, когда уходят, мир становится спокойнее.»

Не обратив внимания на подколку, миссис МаКаски схватила руку своего мужа.

«Джон», — сказала она сентиментально, — «Маленький мальчик миссис Мерфи пропал. Это очень большой город для маленьких мальчиков, чтобы потеряться. Ему только исполнилось 6 лет. Джон, это такой же возраст, какой был бы у нашего маленького мальчика, если бы у нас был свой шестилетний ребенок.»

«Мы никогда не имели», — сказал мистер МаКаски, задерживаясь на этом факте.

«Но если бы мы имели, Джон, подумай, какое горе было бы в наших сердцах этой ночью, если бы наш маленький Фелан пропал и был украден в этом большом городе...»

«Ты говоришь глупости», — сказал мистер МаКаски. «Он был бы назван Патом, в честь моего старого отца из Кантербери.»

«Ты лжешь!» — сказала миссис МаКаски, не выражая злости. «Мой брат был достоин десяти таких деревенщин, как ты. В честь него бы и называли.» Она наклонилась через подоконник и посмотрела вниз на суету и беготню.

«Джон», — сказала она мягко, — «я сожалею, что была резка с тобой.»

«Это был резкий пудинг», — сказал он, — «и резкие репа и кофе. Это был быстрый обед, врать не буду.»

Миссис МаКаски проскользнула рукой в рукав мужа и взяла его грубую руку в свою.

«Слушай, как плачет бедная миссис Мерфи», — сказала она. «Это ужасно, когда маленький мальчик теряется в этом огромном городе. Если бы это был наш Фелан, Джон, это бы разрывало мне сердце.»

Неуклюже мистер МаКаски убрал свою руку. Но он обнял приближающееся плечо своей жены.

«Это глупость, конечно», — сказал он грубо, — «но мне бы тоже было бы больно, если бы наш маленький — Пат был похищен или что-то в этом роде. Но

детей у нас не было. Иногда я был жестким и строгим с тобой , Джуди. Забудь об этом»

Они сидели вместе и смотрели , на сердечную драму, которая разворачивалась внизу.

Долго они сидели так. Люди толпились на тротуаре, набивая его, задавая вопросы, наполняя воздух слухами и бессмысленными предположениями.

Миссис Мерфи проплывала туда-сюда среди них, как мягкая гора, по которой падал слышный поток слёз.

Курьеры приходили и уходили.

Громкие голоса и новый шум возникли перед пансионом.

«Что там теперь, Джуди?» — спросил мистер МакКаски.

«Это голос миссис Мерфи», — сказала миссис МакКаски, прислушиваясь.

«Она говорит, что нашла маленького Майка, спящего за рулоном старого линолеума под кроватью в своей комнате».

Мистер МакКаски громко засмеялся.

«Вот тебе и Фелен», — саркастически выкрикнул он. «Да не задал бы Пэт такого фокуса, если бы мальчишка, которого у нас никогда не было, заблудился или его украли, клянусь богом, назови его Феленом и смотри, как он прячется под кроватью, как лохматый щенок».

Миссис МакКаски тяжело встала и направилась к шкафу для посуды, с угрюмым выражением на лице.

Полицейский Клири вернулся за угол, когда толпа рассеялась. Удивлённый, он настороженно прислушался к шуму, доносившемуся из квартиры МакКаски, где звуки падающих кастрюль, фарфора и звяканье метаемых кухонных принадлежностей звучали так же громко, как и прежде. Полицейский Клири достал свои часы.

«По коням !» — воскликнул он. «Джон МакКаски с женой ругаются уже час с четвертью, судя по часам. Жена его сорок фунтов весом . Сил его рукам !»

Полицейский Клири прогулялся обратно за угол.

Старик Денни свернул газету и поспешил по ступенькам, как раз когда миссис Мерфи собиралась запереть дверь на ночь.

IV

Комната с мансардным окном

Сначала Миссис Паркер покажет вам два смежных зала. Вы не осмелитесь перебить её описание их преимуществ и достоинств джентльмена, который занимал эти комнаты в течение восьми лет. Затем вы кое-как признаетесь, что не являетесь ни врачом, ни стоматологом. Манера, с которой Миссис Паркер восприняла ваше признание, была такой, что вы больше никогда не могли бы испытывать тех же чувств к своим родителям, которые не обучили вас одной из профессий, подходящих для её залов.

Далее вы поднимались на одну лестничную площадку и взглянули на комнату на втором этаже, которая стоила 8 долларов. Хотя она будет убеждать вас , что

эта комната стоит 12 долларов, которые всегда платил мистер Тусенберри, пока не уехал на братьевую апельсиновую плантацию в Флориду, возле Палм-Бич, где Миссис МАКИНТАЙР всегда проводила зимы, и имела двуспальную комнату с ванной, вы кое-как пробормотали, что хотите что-то подешевле.

Если вы пережили презрение Миссис ПАРКЕР, то вас повели на осмотр комнаты мистера Скиддера на третьем этаже. Комната мистера Скиддера не была пустой. Он писал пьесы и курил сигареты весь день. Но каждого претендента на аренду заставляли посетить его комнату, чтобы полюбоваться ламбрекенами. После каждого визита мистер Скиддер, пугаясь возможного выселения, платил что-то по аренде.

Затем - о, затем - если вы все еще стояли на одной ноге с горячей рукой, сжимающей три влажные доллара в кармане, и хрипло заявили о своей ужасной и виновной бедности, Миссис ПАРКЕР больше не будет вашим гидом. Она громко произнесет слово «Клара», покажет вам спину и спустится вниз. Тогда Клара, чернокожая служанка, проводит вас по ковровой лестнице, которая служит для четвёртого этажа, и покажет вам комнату с мансардным окном. Она занимает 7 на 8 футов площади посередине коридора. С каждой стороны было темное складское помещение.

В комнате стояла железная кровать, умывальник и стул. Полка служила в качестве туалетного столика. Четыре голых стены казались сжимающими вас, как стороны монеты. Ваша рука потянулась к горлу, вы вздохнули, посмотрели вверх, как из колодца, и снова вдохнули. Через стекло маленького мансардного окна вы увидели квадрат голубой бесконечности.

«Два доллара, сэр», - говорила Клара с полупрезрительным, полутаскисским акцентом.

Однажды мисс Лисон пришла искать комнату. Она принесла пишущую машинку, предназначенную для гораздо более крупной дамы. Она была очень маленькой девушкой, с глазами и волосами, которые продолжали расти даже после того, как она остановилась в росте, и всегда выглядели так, как будто они говорили: «Боже мой! Почему ты не успеваешь за нами?»

Миссис ПАРКЕР показала ей два смежных зала. «В этом шкафу», сказала она, «можно держать скелет, или анестезию, или уголь...»

«Но я не врач и не стоматолог», - сказала мисс Лисон с дрожью.

Миссис ПАРКЕР взглянула на неё с недоверием, сочувствием, презрением, ледяным взглядом, который она сохраняла для тех, кто не подходил на роль врачей или стоматологов, и повела её на второй этаж.

«Восемь долларов?» сказала мисс Лисон. «Боже мой! Я не Хетти, хотя и выгляжу зелёной. Я просто бедная девушка, работающая. Покажите мне что-то выше и дешевле».

Мистер Скиддер подпрыгнул и рассыпал по полу окурки от сигарет, услышав стук в дверь.

«Извините, мистер Скиддер», - сказала Миссис ПАРКЕР с её дьявольской улыбкой, глядя на его бледное лицо. «Я не знала, что вы дома. Попросила даму посмотреть на ваши ламбрекены».

«Они великолепны», - сказала мисс Лисон, улыбаясь так, как улыбаются ангелы.

После того как они ушли, мистер Скиддер очень активно занялся вычеркиванием высокой, черноволосой героини из своей последней (не поставленной) пьесы и вставлял маленькую, озорную героиню с яркими, густыми волосами и живыми чертами лица.

«Анна Хелд схватит её», - сказал мистер Скиддер про себя, ставя ноги на ламбрекены и исчезая в облаке дыма, как воздушная каракатица.

Вскоре прозвучал тревожный призыв «Клара!», объявляя всему миру положение кошелька мисс Лисон. Тёмный гоблин схватил её, поднял на Стигийскую лестницу, затолкал её в склеп с мерцанием света в верхней части и пробормотал угрожающие и каббалистические слова «Два доллара!»

«Я возьму!» - вздохнула мисс Лисон, опускаясь на скрипящую железную кровать.

Каждый день мисс Лисон выходила на работу. Вечером она приносила домой бумаги с текстами и делала их копии на своей пишущей машинке. Иногда у неё не было работы на ночь, и тогда она сидела на ступенях высокого крыльца с другими жильцами. Мисс Лисон не была предназначена для комнаты с мансардным окном, когда чертили её планы. Она была жизнерадостной и полна нежных, причудливых фантазий. Как-то она позволила мистеру Скиддеру прочитать ей три акта своей великой (не опубликованной) комедии «Это не шутка, или Наследник метро».

Наибольшее веселье среди жильцов приносило время, когда мисс Лисон могла посидеть на ступенях на час-два. Но мисс Лонгнекер, высокая блондика, преподавшая в государственной школе и говорившая «Ну, действительно!» на каждое ваше слово, сидела на верхней ступеньке и фыркала. А мисс Дорн, которая стреляла по движущимся уткам на Кони-Айленде каждое воскресенье и работала в универмаге, сидела на нижней ступеньке и фыркала. Мисс Лисон сидела на средней ступеньке, и мужчины быстро собирались вокруг неё.

Особенно мистер Скиддер, который уже воображал её главной героиней своей частной, романтической (не озвученной) драмы в реальной жизни. И особенно мистер Хувер, которому было сорок пять, он был толстый, покрасневший и глупый. И особенно очень молодой мистер Эванс, который заводил пустой кашель, чтобы она попросила его бросить курить. Мужчины голосовали за неё как за «самую веселую и добродушную». Но фыркания на верхней и нижней ступеньке были непоколебимы. Я умоляю вас, пусть драма остановится, пока Хор не выйдет на передний план и не уронит эпикедийную слезу на полноту мистера Гувера. Настройте трубы на трагедию жира, проклятие массы, беду тучности. Если бы Фальстаф попробовал, он, возможно, вложил бы больше романтики в тонну, чем Ромео в свои хилые ребра. Любовник может вздыхать, но он не должен пыхтеть. К поезду Момуса направляются толстяки. Напрасно бьется вернейшее сердце под 52-дюймовым поясом. Прочь, Гувер! Гувер, сорок пять, красный и глупый, мог бы увезти саму Елену; Гувер, сорок пять, красный, глупый и толстый — это мясо для гибели. У тебя никогда не было шансов, Гувер.

Когда постояльцы миссис Паркер сидели так, в один летний вечер, мисс Лисон подняла взгляд к небесам и воскликнула своим веселым смехом:

«О, вот и Билли Джексон! Я вижу его и отсюда».

Все посмотрели вверх — некоторые на окна небоскрёбов, другие пытались разглядеть воздушный корабль, управляемый Джексонном.

«Это та звезда», — объяснила мисс Лисон, указывая маленьким пальцем. «Не та большая, которая мерцает, а та, что рядом — стабильная синяя. Я вижу её каждую ночь через свой мансардный оконный проем. Я назвала её Билли Джексон».

«Ну и дела!» — сказала мисс Лонгнеккер. «Я не знала, что вы астроном, мисс Лисон».

«О, да», — ответила маленькая звездочет, «я знаю так же много, как и любой из них, о том, какие рукава будут носить осенью на Марсе».

«Ну и дела!» — снова сказала мисс Лонгнеккер. «Звезда, о которой вы говорите, — это Гамма из созвездия Кассиопея. Она почти второй величины, и её меридианный проход...».

«О», — сказал очень молодой мистер Эванс, «я думаю, что Билли Джексон — гораздо лучшее имя для неё».

«Точно!» — сказал мистер Гувер, громко бросая вызов мисс Лонгнеккер. «Я думаю, что мисс Лисон имеет такое же право называть звезды, как и эти старые астрологи».

«Ну и дела!» — сказала мисс Лонгнеккер.

«Интересно, это падающая звезда?» — заметила мисс Дорн. «Я попала в девять уток и кролика из десяти на галерее в Кони-Айленде в воскресенье».

«Снизу она не так ярко видна», — сказала мисс Лизон. «Вы должны видеть её из моей комнаты. Знаете, можно видеть звезды даже днём, если стоишь внизу колодца. Ночью моя комната как шахта угольного рудника, и Билли Джексон выглядит как тот большой бриллиант, которым Ночь застегивает свой кимоно».

Настал момент, когда мисс Лисон больше не приносила домой сложных бумаг для копирования. И когда она уходила утром, вместо работы, она шла от офиса к офису и позволяла своему сердцу таять в холодных отказах, которые передавались через нахальных офисных мальчиков. Так и продолжалось.

Пришёл вечер, когда она устала поднялась на ступеньки к дому миссис Паркер, в час, когда она всегда возвращалась с ужина в ресторане. Но ужина не было.

Когда она вошла в холл, мистер Гувер встретил её и воспользовался своим шансом. Он предложил ей выйти за него замуж, и его полнота нависла над ней, как лавина. Она уклонилась и схватилась за перила. Он попытался взять её за руку, она подняла её и слабым ударом поразила пощечиной. Шаг за шагом она поднималась, таща себя за перила. Она прошла мимо двери мистера Скиддера, когда он красным маркером писал указание по сцене для Мертл Делорм (мисс Лисон) в своей (непринятой) комедии: «пироуэт через сцену от L до стороны графа». Она наконец-то ползла по ковровой лестнице и открыла дверь мансардной комнаты.

Она была слишком слабой, чтобы зажечь лампу или раздеться. Она упала на железную кровать, её хрупкое тело едва прогибало изношенные пружины. И в этой Эребе комнаты она медленно подняла тяжёлые веки и улыбнулась.

Ведь Билли Джексон светил вниз на неё, спокойный, яркий и постоянный через мансардное окно. Вокруг неё не было мира. Она была погружена в яму тьмы, с этим маленьким квадратом бледного света, обрамляющим звезду, которую она так причудливо, и о, так безмысленно, назвала. Мисс Лонгнеккер должна быть права; это была Гамма из созвездия Кассиопея, а не Билли Джексон. И всё же она не могла позволить, чтобы это было Гамма.

Лежа на спине, она дважды попыталась поднять руку. В третий раз она прикоснулась двумя тонкими пальцами к губам и послала поцелуй из чёрной ямы Билли Джексону. Её рука упала обратно, бессильно.

«Прощай, Билли», — прошептала она едва слышно. «Ты миллионы миль отсюда и даже не померкнешь ни разу. Но ты оставался на месте, где я могла видеть тебя большую часть времени, когда вокруг была только темнота, не так ли?.. Миллионы миль... Прощай, Билли Джексон».

Клара, цветная горничная, нашла дверь запертой в десятом часу следующего дня, и они выломали её. Укус, шлёпание по рукам и даже обожжённые перья не помогли, и кто-то побежал звонить за скорой помощью.

Вскоре с громким звоном подъехала скорая, и способный молодой врач в белом льняном халате, готовый, активный, уверенный, с гладким лицом, наполовину обаятельным, наполовину мрачным, быстро поднялся по ступенькам.

«Вызов в 49», — сказал он коротко. «В чём дело?»

«О, да, доктор», — всхлипнула миссис Паркер, как будто её беда, что в доме произошла беда, была ещё более тяжкой. «Не могу понять, что с ней. Ничего, что мы пытались, не помогло привести её в сознание. Это молодая женщина, мисс Эльси — да, мисс Эльси Лисон. Никогда прежде в моём доме...»

«Какая комната?» — вскрикнул врач ужасным голосом, к которому миссис Паркер не была привыкла.

«Комната с мансардным окном. Она...»

Очевидно, врач скорой был знаком с расположением мансардных комнат. Он вскоре взлетел по ступенькам, четырьмя за раз. Миссис Паркер следовала за ним медленно, как требовала её гордость.

На первой площадке она встретила его, когда он возвращался с астрономом на руках. Он остановился и выпустил на неё привычное остриё своего языка, не громко. Постепенно миссис Паркер рухнула, как жесткая вещь, которая соскользнула с гвоздя. В дальнейшем в её разуме и теле остались складки. Иногда её любопытные постояльцы спрашивали её, что врач ей сказал.

«Не стоит об этом», — отвечала она. «Если мне удастся получить прощение за то, что я это услышала, я буду довольна».

Врач с носилками прошёл через толпу любопытных, которые всегда следуют за сенсациями, и даже они отступили по тротуару, смущенные, потому что его лицо было таким, как у того, кто несет мертвого.

Они заметили, что он не положил на подготовленную в машине кровать тело, которое он нес, и всё, что он сказал: «Едь как чёрт, Уилсон», — обратился он к водителю.

Вот и всё. Это история? На следующее утро в газете я увидел маленькую новость, и последняя фраза в ней помогла мне (как и вам) соединить все эти события.

В статье рассказывалось о том, как в госпиталь Бельвью доставили молодую женщину, которую забрали с адреса 49 на Восточной улице, страдающую от истощения, вызванного голоданием. Статья заканчивалась такими словами:

«Доктор Уильям Джексон, врач скорой помощи, который лечил эту пациентку, сказал, что она поправится».

V

Сервис любви

Когда кто-то любит своё дело, никакая работа не кажется слишком трудной. Это наше предположение. Эта история сделает вывод и одновременно покажет, что это предположение неверно. Это будет что-то новое в логике и достижение в рассказе, старое, но не менее значимое, чем Великая Китайская стена.

Джо Ларраби вышел из равнин Среднего Запада, наполненным гениальной живописью. В шесть лет он нарисовал картину с изображением городского колодца, мимо которого спешил видный гражданин. Это произведение было вставлено в рамку и повешено в витрине аптеки рядом с качаном кукурузы с неравномерным числом рядов. В двадцать лет он уехал в Нью-Йорк с развевающимся галстуком и с капиталом, который был завязан несколько туго.

Делия Карутерс делала виртуозные вещи на шести октавах так многообещающе в деревне среди сосен на Юге, что её родственники скинулись достаточно, чтобы она могла поехать на «Север» и «закончить». Они не могли увидеть её ф —, но это и есть наша история.

Джо и Делия встретились в ателье, где собрались несколько студентов искусства и музыки, чтобы обсудить светотень, Вагнера, музыку, картины Рембрандта, Вальдтефеля, обои, Шопена и улун.

Джо и Делия влюбились друг в друга, или в каждого из них, как вам угодно, и через короткое время поженились — ибо (см. выше), когда кто-то любит своё дело, никакая работа не кажется слишком трудной.

Мистер и миссис Ларраби начали вести домашнее хозяйство в квартире. Это была однокомнатная квартира — нечто вроде ля-минор на самом левом конце клавиатуры. И они были счастливы; у них было их искусство, и они были друг у друга. Мой совет богатому молодому человеку таков: продай все, что у тебя есть, и отдай бедным — дворнику за привилегию жить в квартире с твоим искусством и твоей Делией.

Жители квартир подтвердят моё утверждение, что их счастье — единственное истинное счастье. Если дом счастлив, он не может быть слишком тесным — пусть комод превратится в бильярдный стол; пусть каминная полка станет тренажёром, письменный стол — запасной спальней, умывальник — пианино;

пусть четыре стены соберутся, если захотят, так чтобы ты и твоя Делия оказались между ними. Но если дом — другой, пусть он будет широким и длинным — войди через Золотые Ворота, повесь шляпу на Гаттерас, плащ на Мыс Горн и выйди через Лабрадор.

Джо учился в классе великого Магистера — вы знаете его славу. Его гонорары высоки; его уроки легки — его хайлайты принесли ему известность. Делия училась у Розенштока — вы знаете его репутацию как нарушителя гармонии клавиш пианино.

Они были очень счастливы, пока деньги не закончились. Как и все, но я не буду циничным. Их цели были ясны и определены. Джо вскоре должен был стать способным создавать картины, за которые старые господа с тонкими бакенбардами и толстыми кошельками будут дракась друг с другом в его студии за право их купить. Делия должна была ознакомиться с музыкой, а затем презирать её, чтобы, увидев пустые места и ложи оркестра, она могла заболеть ангиной и отказаться выходить на сцену.

Но лучшее, на мой взгляд, было домашнее счастье в маленькой квартире — жаркие, многословные беседы после дневных занятий; уютные ужины и лёгкие свежие завтраки; обмен амбициями — амбициями, переплетёнными друг с другом или иначе незначительными — взаимная помощь и вдохновение; и — извините за наивность — фаршированные оливки и бутерброды с сыром в 11 вечера.

Но спустя какое-то время искусство стало угасать. Такое бывает, даже если ничего не сигнализирует об этом. Всё уходит, и ничего не приходит, как говорят вульгарные. Не хватало денег, чтобы заплатить Магистру и господину Розенштоку. Когда кто-то любит своё искусство, никакая служба не кажется слишком трудной. Итак, Делия сказала, что она должна будет давать уроки музыки, чтобы поддержать кипение жаровни.

Два или три дня она ходила по квартирам, ища учеников. Однажды вечером она пришла домой в восторге.

«Джо, дорогой», — сказала она весело, «у меня есть ученик. И, о, какие замечательные люди! Дочь генерала А. Б. Пинкни на Севенти-фёрст Стрит. Такой великолепный дом, Джо, тебе надо увидеть входную дверь! Византийская, я думаю, ты бы так её назвал. А внутри! О, Джо, я никогда не видела ничего подобного раньше.

«Моя ученица — его дочь Клементинка. Я уже её очень люблю. Она такая нежная — всегда в белом; и такие милые, простые манеры! Ей всего восемнадцать лет. Я буду давать три урока в неделю, и, подумай только, Джо! Пять долларов за урок. Мне это не мешает, потому что когда я возьму ещё два или три ученика, я смогу возобновить свои занятия у господина Розенштока. Теперь разгладь морщинку на лбу, дорогой, и давай ужинать».

«Это всё хорошо для тебя, Делия», — сказал Джо, атакуя банку с горошком ножом для мяса и топором, «но как насчёт меня? Думаешь, я позволю тебе

работать за деньги, пока я буду шататься по миру высокого искусства? Ни за что! Думаю, я могу продавать газеты или выкладывать брусчатку, и принести пару долларов».

Делия подошла и повисла ему на шее.

«Джо, дорогой, ты глупый. Ты должен продолжать учёбу. Это не то, что я бросила музыку и пошла работать на что-то другое. Пока я учу, я учусь. Я всегда с музыкой. И мы можем жить счастливо, как миллионеры, на 15 долларов в неделю. Ты не должен думать об уходе от господина Магистера».

«Хорошо», — сказал Джо, тянувшись за синим блюдом для овощей. «Но мне не нравится, что ты даёшь уроки. Это не искусство. Но ты — настоящий герой, что ты это делаешь».

«Когда кто-то любит своё дела, никакая работа не кажется слишком трудной», — сказала Делия.

«Магистер похвалил небо на том эскизе, который я сделал в парке», — сказал Джо. «А Тинкл разрешил мне повесить два из них в своём окне. Может быть, я продам один, если какой-нибудь подходящий денежный идиот их увидит».

«Я уверена, что ты продашь», — сказала Делия сладко. «А теперь давай будем благодарны за генерала Пинкни и этот жареный телячий окорок».

На протяжении всей следующей недели Ларраби начали завтракать рано. Джо был в восторге от некоторых эскизов утреннего света, которые он делал в Центральном парке, и Делия отправляла его позавтракавшим, заласканным, захваленным и зацелованным в семь утра. Искусство — привлекательная госпожа. Почти всегда было почти семь часов, когда он возвращался вечером.

В конце недели Делия, гордая, но усталая, торжественно положила три пятёрки на стол в центре гостиной маленькой квартиры.

«Иногда», — сказала она немного устало, «Клементинка меня изматывает. Боюсь, она недостаточно занимается, и мне приходится ей повторять одно и то же снова и снова. И потом, она всегда носит только белое, и это начинает утомлять. Но генерал Пинкни — такой богатый старик! Я бы хотела, чтобы ты мог его встретить, Джо. Он заходит иногда, когда я с Клементинкой за пианино — он вдовец, ты знаешь — и стоит там, тянет свою белую бородку. «И как там полукварты и деми-полукварты?» — всегда спрашивает он.

«Жаль, что ты не видел того деревянного панно в гостиной, Джо! И эти астраханские шторы. А у Клементинки такой смешной небольшой кашель. Надеюсь, она крепче, чем выглядит. О, я действительно привязываюсь к ней,

она такая нежная и благородная. Брат генерала Пинкни когда-то был министром в Боливии».

И тогда Джо, с видом Монте-Кристо, вытащил десятку, пятёрку, двушку и единицу — все законные деньги — и положил их рядом с заработанными Делией деньгами.

«Продал этот акварель с обелиском мужчине из Пеории», — сказал он поражённо.

«Не шути со мной», — сказала Делия. — «Не из Пеории!»

«Целиком. Ты бы только увидела его, Делия. Толстяк в шерстяном шарфе и с зубочисткой из пера. Он увидел эскиз в окне Тинка и подумал, что это ветряная мельница. Но он был решительным и купил её. Он заказал ещё одну — масляный эскиз склада Лакаванны — забрать с собой».

Уроки музыки! О, думаю, искусство всё ещё в деле».

«Я так рада, что ты продолжил», — сказала Делия сердечно. «Ты обязательно выиграешь, дорогой. Тридцать три доллара! Мы никогда не тратили столько! Сегодня будем есть устрицы».

«И филе миньон с шампиньонами», — сказал Джо. «Где вилка для оливок?»

В следующую субботу вечером Джо пришёл домой первым. Он разложил свои 18 долларов на столе и смыл с рук, похоже, много тёмной краски.

Через полчаса пришла Делия, её правая рука была небрежно перевязана бинтом.

«Как это случилось ?» — спросил Джо после обычных приветствий.

Делия засмеялась, но не слишком весело.

«Клементина, — объяснила она, — настояла на том, чтобы съесть уэльского кролика после урока. Она такая странная девушка. Уэльский кролик в пять вечера! Генерал был там. Джо, ты бы видел, как он бросился за жаровней, словно в доме и слуги нет. Я знаю, что Клементина нездорова, она очень нервная. Когда она подавала кролика, то пролила большую его часть, обжигаясь горячего, на мою руку и запястье. Это ужасно болело, Джо! А бедная девочка так расстроилась! Но генерал Пинкни!.. Джо, этот старик чуть с ума не сошел! Он бросился вниз и послал кого-то — говорят, кочегара из подвала — в аптеку за маслом и чем-то, чтобы перевязать ожог. Сейчас уже не так больно».

«Что это?» — спросил Джо, осторожно взяв её руку и потянув за белые пряди под повязкой.

«Что-то мягкое, — ответила Делия, — на что нанесли масло... О, Джо, ты продал еще один набросок?» Она заметила деньги на столе.

«Продал?» — переспросил Джо. «Спроси-ка у человека из Пеории. Сегодня он получил свой вокзал и, кажется, хочет еще один пейзаж с парком и вид на Гудзон. В котором часу ты обожгла руку, Делия?»

«В пять часов, кажется», — жалобно сказала Делия. «Утюг... то есть кролик, сняли с огня как раз в это время. Ты бы видел генерала Пинкни, Джо, когда...»

«Сядь-ка сюда на минутку, Делия», — сказал Джо. Он усадил её на диван, сел рядом и обнял за плечи.

«Чем ты занималась последние две недели, Делия?» — спросил он.

Она пыталась выдержать взгляд, её глаза были полны любви и упрямства, и сначала пробормотала пару фраз о генерале Пинкни, но вскоре её голова опустилась, и она залилась слезами .

«Я не смогла найти учеников, — призналась она. — А мне было не вынести мысли, что тебе придется бросить уроки. Поэтому я устроилась гладить рубашки в большой прачечной на Двадцать четвертой улице. И, по-моему, я довольно ловко придумала историю про генерала Пинкни и Клементину, правда, Джо? А когда девушка в прачечной прижала к моей руке горячий утюг, всю дорогу домой я сочиняла рассказ про уэльского кролика. Ты не сердишься, Джо? Если бы я не устроилась на работу, ты мог бы и не продать свои наброски тому человеку из Пеории».

«Он не из Пеории», — медленно сказал Джо.

«Ну, неважно, откуда он. Джо, какой ты умный... и... поцелуй меня, Джо... но что заставило тебя заподозрить, что я не преподаю музыку Клементине?»

«Я не подозревал», — ответил Джо, — «до сегодняшнего вечера. И не догадался бы, если бы не одно: сегодня днем я отправил в верхнюю квартиру эту масляную тряпку и хлопковый бинт для девушки, которая обожгла руку утюгом. Последние две недели я топил котел в той же самой прачечной».

«И ты не...»

«Мой покупатель из Пеории, — сказал Джо, — и генерал Пинкни — это творения одного и того же искусства. Но вряд ли это можно назвать ни живописью, ни музыкой».

И тогда они оба засмеялись, и Джо начал:

«Когда любишь искусство, никакая работа не...»

Но Делия приложила руку к его губам и прервала его:

«Нет, — сказала она, — просто “Когда любишь”».

VI. Открытие Магги

Каждую субботу вечером в клубе Clover Leaf устраивали танцы в зале Ассоциации «Дать и Взять» на восточной стороне. Чтобы попасть на одно из этих мероприятий, нужно было быть членом Ассоциации «Дать и Взять», или, если ты принадлежал к отделению, которое начинало танцевать с правой ноги в вальсе, нужно было работать на фабрике по производству коробок из бумаги Rhinegold. Тем не менее, любой из Clover Leaf имел право привести с собой или быть приведенным кем-то на один танец. Но в основном каждый член Ассоциации «Дать и Взять» приводил с собой ту девушку из фабрики, которая ему нравилась; и немногие посторонние могли похвастаться тем, что танцевали на регулярных вечерах.

Магги Тул, из-за ее тусклых глаз, широкой губы и левой манеры танцевать двустеп, ходила на танцы с Анной МакКарти и ее «парнем». Анна и Магги работали бок о бок на фабрике и были лучшими подругами. Поэтому Анна всегда заставляла Джимми Бернса заезжать за Магги домой каждую субботу, чтобы подруга могла пойти на танцы с ними.

Ассоциация «Дать и Взять» оправдывала свое название. Зал ассоциации на Орчард-стрит был оборудован устройствами для наращивания мышц. С помощью этих упражнений члены обычно вступали в веселые схватки с полицейскими и соперничающими социальными и спортивными организациями. Между этими более серьезными занятиями субботние вечеринки с девушками из фабрики по производству коробок приходились как благотворное влияние и обратный эффект. Потому что иногда распространялся слух, и если ты был среди избранных, которые на цыпочках поднимались по темной задней лестнице, ты мог увидеть что-то невообразимое — небольшую схватку, как в боксе, доведенную до конца, как это бывает на ринге.

Субботними днями фабрика Rhinegold закрывалась в 3 часа дня. В один из таких дней Анна и Магги шли домой вместе. У двери Магги Анна сказала, как всегда: «Будь готова к семи, точно, Маг; мы с Джимми заедем за тобой». Но что

это? Вместо обычной скромной и благодарной реакции от девушки, которую не сопровождал кавалер, можно было заметить высоко поднятую голову, гордую улыбку на уголках широкой губы и почти искорку в тусклом карем глазу.

«Спасибо, Анна,» сказала Магги, «но вам с Джимми не нужно беспокоиться этой ночью. У меня есть друг, который придет за мной и отведет меня на танцы.»

Привлекательная Анна налетела на свою подругу, потрясла ее, упрекнула и умоляла ее. Магги Тул с парнем! Простая, дорогая сердцу, верная, непривлекательная Магги, такая милая в роли подруги, но так не востребованная для двустепа или прогулки под луной в парке. Как это случилось? Когда это произошло? Кто он?

«Увидишь сегодня,» сказала Магги, покрасневшая от вина первых виноградин, которые она собрала в винограднике Купидона. «Он отличный, правда. Он на два дюйма выше Джимми и одевается по моде. Я его тебе представлю, Анна, как только мы войдем в зал.»

Анна и Джимми были среди первых, кто пришел на танцы той ночью. Глаза Анны ярко смотрели в дверь зала, чтобы поймать первый взгляд на «улов» своей подруги.

В 8:30 мисс Тул вошла в зал с своим спутником. Быстро ее торжественный взгляд обнаружил подругу под крылом верного Джимми.

«О, Боже!» воскликнула Анна, «Маг не поймала удачу — ой, нет! Отличный парень? Да, я думаю! Стиль? Посмотри на него.»

«Делай, что хочешь,» сказал Джимми, с песочным оттенком в голосе. «Забери его, если хочешь. Эти новенькие всегда выигрывают в толпе. Не обращай внимания на меня. Он не выжимает все лимоны, я думаю. Хм!»

«Замолчи, Джимми. Ты знаешь, что я имею в виду. Я рада за Маг. Это первый парень, которого она когда-либо имела. О, вот они идут.»

Через зал Магги пронеслась, как кокетливая яхта, сопровождаемая статным крейсером. И правда, ее спутник оправдал похвалы верной подруги. Он был на два дюйма выше среднего атлета из Ассоциации «Дать и Взять»; его темные волосы кудрявились; его глаза и зубы сверкали, он часто улыбался. Молодые люди из Clover Leaf не привязывались к внешности, а скорее к умениям, достижениям в рукопашных схватках и способности избежать правового давления, которое постоянно угрожало им. Член ассоциации, который бы привел девушку из фабрики коробок в свою «победоносную колесницу», презирал манеры Бью Браммела. Они не считались благородными методами

борьбы. Напряженные бицепсы, пиджак, натянутый на груди, уверенность в превосходстве мужчин в космогонии творения, даже спокойное проявление «кривых ног», очаровывающих и покоряющих в нежных поединках Купидона — вот оружие и снаряжение джентльменов Clover Leaf. Они видели, следовательно, низкие поклоны и соблазнительные позы этого визитера с новым углом наклона подбородка.

«Мой друг, мистер Терри О’Салливан,» была формула представления Магги. Она вела его по комнате, представляя его каждому вновь прибывшему члену Clover Leaf. Она почти стала красивой теперь, с уникальным сиянием в глазах, которое появляется у девушки с ее первым поклонником, и у котенка с его первой мышью.

«У Магги Тул наконец-то появился парень,» — пошептали девушки с фабрики коробок. «Посмотрите на кавалера Магги» — так члены «Дать и Взять» выражали свое равнодушное презрение.

Обычно на еженедельных танцах Магги сутуло стояла у стены. Она чувствовала и показывала такую благодарность всякий раз, когда самоотверженный партнер приглашал ее на танец, что его удовольствие становилось дешевым и уменьшалось. Она даже привыкла замечать, как Анна подталкивала неохотного Джимми локтем, чтобы он пригласил подругу пройти по его ногам в двустепе. Но сегодня тыква превратилась в карету с шестью лошадьми. Терри О’Салливан был победоносным Принцем Чармином, а Магги Тул расправляла свои первые крылья бабочки. И хотя наши метафоры о волшебной стране смешиваются с энтомологией, они не пролили ни капли амброзии из розового венца мелодии Магги, одного ее совершенного вечера.

Девушки осаждали ее с просьбами познакомиться с ее «парнем». Молодые люди из Clover Leaf, после двух лет слепоты, вдруг заметили в Магги очарование. Они демонстрировали свои сильные мускулы перед ней и приглашали ее на танцы.

Так она победила; но честь вечера досталась Терри О’Салливану. Он взъерошил свои кудри; он улыбался и ловко выполнял семь движений для приобретения грации в своей комнате перед открытым окном по десять минут каждый день. Он танцевал как фавн; он представил манеры и стиль и атмосферу; его слова текли с языка, и... он танцевал дважды подряд с девушкой из фабрики коробок, которую привел Демпси Донован.

Демпси был лидером ассоциации. Он носил вечерний костюм и мог подтянуть штангу дважды одной рукой. Он был одним из лейтенантов «Большого Майка» О’Салливана и никогда не сталкивался с трудностями. Ни один полицейский не осмелился арестовать его. Когда он разбивал голову продавцу с тележкой или

стрелял в колено члену литературной ассоциации Хайнриха Б. Свини, офицер заглядывал и говорил:

«Капитан хотел бы поговорить с вами пару минут, когда у вас будет время, Демпси, мой мальчик.»

Но там всегда были люди с большими золотыми цепочками и черными сигарами, кто-то рассказывал смешную историю, и потом Демпси возвращался и полчаса работал с шестикилограммовыми гантелями. Так что танцевать дважды с девушкой из фабрики коробок Демпси Донована было намного опаснее, чем акробатическое выступление на натянутом канате через Ниагарский водопад.

В десять часов у двери появился веселый круглый лик «Большого Майка» О’Салливана, и он просиял на сцене пять минут. Он всегда заглядывал на пять минут, улыбался девушкам и раздавал настоящие сигары радостным парням.

Демпси сразу же оказался у него за плечом, быстро заговорив.

«Большой Майк» внимательно посмотрел на танцующих, улыбнулся, покачал головой и ушел.

Музыка остановилась. Танцоры разбежались по стульям вдоль стен. Терри О’Салливан, с его чарующим поклонным жестом, освободил красивую девушку в синем от партнера и отправился обратно, чтобы найти Магги. Демпси преградил ему путь на середине зала.

Некое тонкое чувство, оставшееся нам от Рима, заставило почти всех повернуться и посмотреть на них — было ощущение, что два гладиатора встретились на арене. Два-три члена «Дать и Взять» с обтянутыми рукавами курток подошли ближе.

«Одну минуту, мистер О’Салливан,» сказал Демпси. «Надеюсь, вы наслаждаетесь вечером. Где вы сказали, что живете?»

Два гладиатора были достойными соперниками. Демпси, пожалуй, уступал в весе фунтов десять. У’Салливан сочетал ширину плеч с быстротой. У Демпси был ледяной взгляд, узкий, властный рот, несокрушимая челюсть, цвет лица, как у красавицы, и хладнокровие чемпиона. У незнакомца больше огня в презрении и меньше контроля над своей заметной усмешкой. Они были врагами по закону, написанному, когда скалы были еще расплавленными. Оба были слишком великолепны, слишком могучи, слишком несравненны, чтобы делить первенство. Выжить должен был только один.

— Я живу на Гранд-стрит, — вызывающе сказал О’Салливан. — Найти меня дома — не проблема. А ты где живешь?

Демпси проигнорировал вопрос.

— Ты говоришь, тебя зовут О’Салливан, — продолжил он. — А вот «Большой Майк» говорит, что никогда тебя не видел.

— Да он много чего не видел, — усмехнулся фаворит бала.

— Как правило, — продолжал Демпси, с ласковой хрипотцой, — О’Салливаны в этом районе друг друга знают. Ты пришел сюда с одной из наших девушек, и мы хотим проверить тебя. Если у тебя есть родословная, давай посмотрим, растут ли на этом древе настоящие О’Салливаны. Или ты хочешь, чтобы мы выкопали ее из тебя вместе с корнями?

— Может, займешься своими делами? — лениво предложил О’Салливан.

Глаза Демпси загорелись. Он поднял палец, словно его осенило.

— Теперь понял! — дружелюбно сказал он. — Просто небольшая ошибка. Ты вовсе не О’Салливан. Ты — полосатохвостая обезьяна. Извини, что не узнали сразу.

Глаза О’Салливана сверкнули. Он сделал резкое движение, но Энди Гиган был наготове и перехватил его руку.

Демпси кивнул Энди и Уильяму МакМэхону, секретарю клуба, и быстро направился к задней двери зала. К ним присоединились еще два члена клуба «Дать и взять». Теперь Терри О’Салливан оказался в руках Совета по правилам и общественным спорам. Они тихо сказали ему несколько слов и проводили его через заднюю дверь.

Этот маневр членов клуба «Клевер Лиф» требует пояснения. За залом ассоциации находилась небольшая комната, арендованная клубом. Там решались личные разногласия, возникшие на танцполе, один на один, с оружием природы, под присмотром Совета. Ни одна дама не могла сказать, что видела драку на балу «Клевер Лиф» за последние годы. Джентльмены клуба это гарантировали.

Так легко и плавно Демпси и Совет проделали свою работу, что многие в зале даже не заметили, как прервали триумф О’Салливана. Среди них была и Мэгги. Она огляделась в поисках своего кавалера.

— Проспала момент? — сказала Роза Кэссиди. — Ты не заметила? Демпси Донован сцепился с твоим бойфрендом, и они ушли разбираться в бойцовскую комнату. Как тебе моя новая прическа, Мэг?

Мэгги прижала руку к груди.

— Он пошел драться с Демпси! — выдохнула она. — Они должны остановиться. Демпси Донован не должен с ним драться. Он... он же его убьет!

— Тебе-то что? — пожала плечами Роза. — Они чуть ли не на каждом балу дерутся.

Но Мэгги уже исчезла, пробираясь сквозь танцующую толпу. Она влетела в темный коридор и со всей силы толкнула дверь бойцовской комнаты. Дверь поддалась, и перед ней открылась картина: Совет стоит вокруг с открытыми часами; Демпси Донован в одной рубашке, легкий, как танцор, с грацией боксера, готов к бою; а Терри О'Салливан стоит, скрестив руки, с мрачным, убийственным взглядом.

И не замедлив шага, Мэгги бросилась вперед с криком — и успела вовремя, чтобы схватить его руку, внезапно вскинувшуюся вверх, и вырвать из нее длинный блестящий стилет, который он вытащил из-за пазухи.

Нож упал с звоном на пол. Холодное оружие в стенах клуба «Дать и взять»! Такого никогда раньше не случалось. Все застыли на месте.

Энди Гиган толкнул стилет носком ботинка с любопытством антиквара, нашедшего неизвестное оружие древних.

О'Салливан прошипел что-то сквозь зубы. Демпси и Совет обменялись взглядами. Потом Демпси посмотрел на О'Салливана без злобы, как на бездомного пса, и кивнул на дверь.

— Чёрный ход, Джузеппе, — коротко сказал он. — Тебе швырнут шляпу следом.

Мэгги подошла к Демпси. Ее щеки пылали, по ним стекали медленные слезы, но она смело смотрела ему в глаза.

— Я знала, Демпси, — сказала она, и даже сквозь слезы ее взгляд потускнел. — Я знала, что он не ирландец. Его зовут Тони Спинелли. Я прибежала, когда мне сказали, что ты с ним дерешься. Эти даго всегда таскают с собой ножи. Но ты не понимаешь, Демпси. У меня никогда не было парня. Мне надоело ходить на балы с Анной и Джимми, вот я и договорилась с ним, чтобы он назвался

О’Салливаном, и привела его сюда. Я знала, что если он придет как итальянец, ему ничего не светит. Думаю, теперь мне лучше выйти из клуба.

Демпси повернулся к Энди Гигану.

— Выбрось этот сырный нож в окно, — сказал он, — и скажи всем внутри, что мистеру О’Салливану срочно позвонили из Таммани-холла.

Затем он снова посмотрел на Мэгги.

— Слушай, Мэг, — сказал он, — я провожу тебя домой. А в следующую субботу... Если я найду за тобой, пойдешь со мной на бал?

Удивительно, как быстро глаза Мэгги могли измениться от тусклых до сияющего карего блеска.

— С тобой, Демпси? — пробормотала она. — А разве утка не плавает?

VII. Полицейский и Гимн

На своей скамье в Мэдисон-Сквер Соупи сидит беспокойно. Когда ночью громко кричат дикие гуси, когда женщины без манто из морского котика становятся добрее к своим мужьям, и когда Соупи беспокойно сидит на своей скамье в парке, можно быть уверенным, что зима не за горами.

Мертвый лист упал на колени Соупи. Это была визитная карточка Джека Мороза. Джек добр к постоянным обитателям Мэдисон-Сквер и дает ясное предупреждение о своем ежегодном визите. На углах четырех улиц он передает свою визитку Северному Ветру, слуге дома Всей Природы, чтобы жители могли подготовиться.

Мысли Соупи поняли, что настал момент, когда он должен будет принять решение о том, как подготовиться к наступающим холодам. Поэтому он беспокойно пошевелился на своей скамье.

Зимние амбиции Соупи не были высокими. Он не думал о Средиземноморских круизах, об успокаивающем южном небе или о том, чтобы дрейфовать по Везувианскому заливу. Три месяца на Острове — вот чего его душа желала. Три месяца с гарантированным питанием, кровом и хорошей компанией, под защитой от Бореаса и голубых мундиров, казались Соупи сущностью желаемого.

Гостеприимный Блэквеллс был его зимним укрытием. Точно так же, как его более удачливые сограждане Нью-Йорка покупали билеты в Пальм-Бич и на

Лазурный берег каждую зиму, так и Соупи готовил свои скромные приготовления для ежегодного бегства на Остров. И вот пришло время. В прошлую ночь три газеты, сложенные под его пальто, вокруг его лодыжек и на коленях, не смогли отогнать холод, пока он спал на скамье у фонтана на древней площади. Поэтому Остров стал большой и своевременной мыслью для Соупи. Он презирал тех, кто пытался помочь бедным города через благотворительные учреждения.

Соупи считал, что закон более добр, чем благотворительность. Существовало множество учреждений, муниципальных и благотворительных, где он мог бы получить жилье и еду, соответствующие простому образу жизни. Но для человека с гордостью, как у Соупи, дары благотворительности обременены. Если не деньгами, то душевным унижением нужно платить за каждое благодеяние. Как у Цезаря был Брут, так и каждое место, предоставляемое благотворительностью, требует своей платы в виде омовения, каждый кусок хлеба имеет свою цену в виде личного расследования. Поэтому лучше быть гостем у закона, который, хотя и действует по правилам, не вмешивается в частные дела джентльмена.

Соупи, решив поехать на Остров, сразу принялся за исполнение своего желания. Было много легких способов сделать это. Самым приятным было бы поужинать в дорогом ресторане, а потом, заявив о своей неплатежеспособности, тихо и без шума быть переданным полицейскому. Уступчивый судья все остальное уладит.

Соупи встал со своей скамьи и прогулялся из площади, пересек асфальт, где встречаются Бродвей и Пятая авеню. Он повернул на Бродвей и остановился у блестящего кафе, где каждую ночь собираются лучшие продукты винограда, шелкопряда и протоплазмы.

Соупи был уверен в себе с самого низкого пуговицы своего жилета. Он был побрит, его пальто было приличным, а черный галстук, завязанный сготовленным узлом, был подарен ему дамой-миссионером на День благодарения. Если бы он смог добраться до стола в ресторане, его успех был бы гарантирован. Часть его, которая была бы видна над столом, не вызвала бы сомнений в уме официанта. Он подумал, что жареная утка была бы в самый раз, с бутылкой Шабли, а затем Камамбер, полусладкое кофе и сигара. Одного доллара на сигару было бы достаточно. Сумма не была бы настолько высокой, чтобы вызвать возмущение со стороны менеджера ресторана, а мясо оставило бы его сытым и счастливым для путешествия в его зимнее убежище.

Но когда Соупи вошел в ресторан, взгляд главного официанта упал на его поношенные брюки и изношенные ботинки. Сильные и решительные руки развернули его и молча, спешно вывели на тротуар, предотвратив трагическую судьбу утки.

Соупи свернул с Бродвея. Казалось, его путь на желанный Остров не будет гурманским. Следовало подумать о другом способе попасть в преисподнюю.

На углу Шестой авеню яркие электрические огни и искусно выставленные товары за стеклом сделали витрину магазина заметной. Соупи взял камень и бросил его через стекло. Люди прибежали с угла, и впереди был полицейский. Соупи стоял, засунув руки в карманы, и улыбался, увидев медные пуговицы.

“Где человек, который это сделал?” — возбужденно спросил офицер.

“Неужели ты не думаешь, что я мог быть причастен?” — сказал Соупи с сарказмом, но дружелюбно, как тот, кто приветствует удачу.

Полицейский отказался воспринимать Соупи даже как подозреваемого. Мужчины, разбивающие окна, не стоят и не ведут переговоры с властями. Они бегут прочь. Полицейский увидел человека, бегущего вниз по улице, пытающегося успеть на трамвай. С вынутым дубинкой он присоединился к погоням. Соупи с презрением продолжал идти, дважды неудачно.

По ту сторону улицы был ресторан, не претендующий на высокие звания. Он обслуживал большие аппетиты и скромные кошельки. Его посуду и атмосферу можно было бы назвать грубыми; его суп и салфетки — тонкими. Соупи зашел в этот ресторан с его обвиняемыми туфлями и брюками и без вопросов устроился за столом. Он съел стейк, оладьи, пончики и пирог. Затем он сообщил официанту, что не имеет ни гроша в кармане.

«Ну, давай, зови копа», — сказал Соупи. «И не заставляй джентльмена ждать».

«Не будет тебе копа», — ответил официант голосом, мягким, как масляные оладьи, и с глазом, сверкающим, как вишня в коктейле «Манхэттен». «Эй, Кон!»

Двое официантов ловко схватили Соупи и вышвырнули его на жёсткий тротуар. Он поднялся, сустав за суставом, словно раскладывающаяся линейка, и отряхнул пыль с одежды. Арест казался теперь лишь несбыточной мечтой. Остров (тюрьма на Блэквеллс-Айленде) был так далеко. Полицейский, стоявший у аптеки в двух дверях оттуда, лишь рассмеялся и ушёл дальше по улице.

Соупи прошёл ещё пять кварталов, прежде чем набрался храбрости снова искать ареста. На этот раз ему представился случай, который он самонадеянно назвал бы «пустяком». Молодая женщина, скромно и мило одетая, стояла перед витриной, с живым интересом разглядывая выставленные на ней кружки для бритья и чернильницы. В двух шагах от неё, прислонившись к гидранту, стоял крупный полицейский с суровым выражением лица.

Соупи задумал сыграть роль презренного «кавалера на улице». Элегантный вид девушки и близость добросовестного стража порядка позволяли ему надеяться, что он скоро почувствует приятное официальное прикосновение руки, которое обеспечит ему зимний приют на «милом маленьком острове».

Он поправил галстук готового покроя, вытащил из рукавов манжеты, наклонил шляпу под «роковым» углом и направился к девушке. Он строил ей глазки, вдруг начинал кашлять и откашливаться, улыбался, кривлялся и проделывал все наглые ухищрения уличного ухажёра. Краем глаза он заметил, что полицейский внимательно за ним наблюдает.

Девушка сделала пару шагов в сторону и снова погрузилась в созерцание кружек. Соупи последовал за ней, смело подошёл и, приподняв шляпу, сказал: «Ах, здравствуй, Беделия! Не хочешь прийти и поиграть в моём дворе?»

Полицейский продолжал смотреть. Достаточно было девушке просто махнуть рукой, и Соупи оказался бы на пути к своему уютному приюту. Уже он почти ощущал тепло полицейского участка...

Но девушка вдруг схватила его за рукав и радостно сказала: «Конечно, Майк, если угостишь меня пивком! Я бы заговорила с тобой раньше, но коп наблюдал».

Соупи пошёл дальше, с девушкой, висевшей на его руке, подавленный и обескураженный. Он, похоже, обречён был на свободу.

На следующем углу он стряхнул свою спутницу и побежал. Он оказался в районе, где ночью сияли огни, легкомысленно менялись клятвы, и сердца разбивались столь же легко, как бокалы. Женщины в мехах и мужчины в длинных пальто весело прохаживались в морозном воздухе. Внезапно его охватил страх: неужели какая-то ужасная магия сделала его неуязвимым для ареста?

Он увидел ещё одного полицейского, лениво стоявшего перед сияющим театром, и решил прибегнуть к «хулиганскому поведению». На тротуаре он начал громко выкрикивать пьяную тарабарщину, танцевать, выть и устраивать шумный беспорядок.

Полицейский покрутил дубинку, повернулся спиной к Соупи и сказал случайному прохожему:

«Да это просто один из этих парней из Йеля отмечает поражение, которое они устроили колледжу Хартфорда. Шумный, но безвредный. Нам велено не трогать их».

Разочарованный, Соупи прекратил своё бесполезное представление. Неужели ни один полицейский не задержит его? В его воображении остров казался теперь недостижимым раем.

В табачной лавке он увидел хорошо одетого мужчину, прикуривающего сигару от подвесного фонаря. Его шёлковый зонт стоял у двери. Соупи вошёл, схватил зонт и неторопливо вышел.

Мужчина поспешно последовал за ним.

«Мой зонт», — строго сказал он.

«О, правда?» — насмешливо ответил Соупи, добавляя оскорбление к мелкому преступлению. «Ну, так позови полицейского. Я его взял. Твой зонт! Почему же ты не зовёшь копа? Вот он стоит на углу».

Владелец зонта замедлил шаг. Соупи тоже замедлился, с предчувствием, что удача снова отвернётся от него. Полицейский посмотрел на них с любопытством.

«Ну... это... эм... понимаете, такие ошибки случаются», — замялся мужчина. «Я... если это ваш зонт, надеюсь, вы извините... Я утром нашёл его в ресторане... Если вы его узнаете, то...»

«Конечно, он мой», — с яростью сказал Соупи.

Бывший владелец зонта отступил. Полицейский поспешил помочь высокой блондинке в оперном плаще перейти улицу перед приближающимся за два квартала трамваем.

Соупи пошёл дальше, разозлившись, и швырнул зонт в какую-то яму. Он пробормотал проклятия в адрес людей, носящих каски и дубинки. Он так хотел, чтобы его арестовали, а они, словно считая его каким-то королём, которому всё сходит с рук, напрочь его игнорировали.

Наконец он оказался на тихой восточной улице. Он направился в сторону Мэдисон-сквер: даже если дом — всего лишь скамейка в парке, инстинкт всегда ведёт туда.

Но на необычно тихом углу он внезапно остановился. Перед ним была старая церковь, причудливая, со шпилями и башенками. Через один витраж лился мягкий свет — там, наверное, органист репетировал гимн к воскресной службе. Из-за решётки ограды Соупи слышал знакомые ноты, которые приковали его к месту.

Луна светила ярко и спокойно. Машины и прохожие встречались редко. Воробьи сонно чирикали под крышей. На мгновение это место могло сойти за деревенский храм. А органная мелодия потрясла его душу — ведь когда-то в его жизни были мать, розы, мечты, друзья и чистые помыслы...

В одно мгновение его охватил ужас от того, куда он скатился: потерянные надежды, разрушенные способности, низменные желания. И тут же в сердце вспыхнуло желание бороться. И в этот момент его сердце откликнулось на это новое настроение. Мгновенный и сильный импульс побудил его бороться с его отчаянной судьбой. Он вытащит себя из трясины; он снова станет человеком; он победит зло, которое овладело им. Время было; он еще сравнительно молод; он воскресит свои старые амбиции и будет стремиться к ним без колебаний. Эти торжественные, но сладкие звуки органа вызвали в нем революцию. Завтра он пойдет в шумный деловой район и найдет работу. Как-то раз ему предлагали место водителя у импортера мехов. Завтра он найдет его и попросит о работе. Он станет кем-то в этом мире. Он будет —

Соупи почувствовал, как на его руку положили чью-то руку. Он быстро обернулся и увидел широкое лицо полицейского.

— Что ты тут делаешь? — спросил офицер.

— Ничего, — ответил Соупи.

— Тогда иди, — сказал полицейский.

— Три месяца на острове, — сказал магистрат в полицейском суде на следующее утро.

VIII. Мемуары жёлтой собаки

Не думаю, что это произведение потрясет кого-либо из вас. Мистер Киплинг и многие другие уже доказали, что животные могут выражаться на приличном английском, и сейчас ни одно издание не выходит без истории о животных, за исключением старых журналов, которые до сих пор печатают картинки с Брайаном и ужасами Мон-Пеле.

Но вам не стоит ожидать в моем рассказе ничего вычурного, вроде того, как медведь Беару, змея Снаку и тигр Тамману разговаривают в джунглях. Жёлтая собака, которая большую часть своей жизни провела в дешевой квартире в Нью-Йорке, спя в углу на старой сатиновой юбке (той самой, на которую она пролила портвейн на банкете Леди-Грузчиков), не может продемонстрировать искусство речи.

Я родился желтым щенком; дата, место, порода и вес неизвестны. Первое, что я помню: старая женщина держала меня в корзине на Бродвее, у 23-й улицы, пытаясь продать меня какой-то жирной даме. Старая Мать Хаббард рекламировала меня как настоящего померанского-амболетонского-красного-ирландского-кочинского-сток-Погис-терьера. Жирная дама гонялась за мной

среди образцов грубого фланелевого материала в ее сумке, пока не загнала меня в угол, и сдалась. С того момента я стал питомцем — настоящим «мамочкиным малышом». Скажите, читатель, когда-нибудь вам приходилось быть подобранной 200-фунтовой женщиной, пахнущей камамбером и «Пау д'Испань», которая везде теребила ваш нос, при этом не переставая повторять в тоне Эммы Эймс: «О, ты мой хороший, умный малыш!»?

Из породистого желтого щенка я вырос в анонимную желтую дворнягу, напоминающую смесь ангоры и коробки с лимонами. Но моя хозяйка так и не заметила. Она считала, что два первобытных щенка, которых Ной загнал в ковчег, были лишь боковой ветвью моего рода. Ей потребовались два полицейских, чтобы помешать ей зарегистрировать меня на выставке собак в Мэдисон-Сквер-Гарден за приз для сибирского хаски.

Расскажу вам про ту квартиру. Дом был обычным для Нью-Йорка: с парийским мрамором в холле и булыжниками на верхних этажах. Наша квартира находилась на третьем этаже — ну, не этажах, а подъемах. Моя хозяйка сняла ее без мебели, а потом поставила стандартные вещи: антикварный диван 1903 года, хромофотография гейш в харлемском чайном доме, резиновое растение и муж.

Сириус! Вот кого мне было жалко. Он был маленьким человеком с песочными волосами и усами, напоминающими мои. Муж? Ну, в нем чувствовали себя на скамье все туканы, фламинго и пеликаны. Он вытирал посуду и слушал, как моя хозяйка рассказывала про дешевое, потрепанное барахло, которое дама с беличей шубой из второго этажа вывешивала на просушку. И каждый вечер, пока она готовила ужин, заставляла его водить меня на поводке.

Если бы мужчины знали, как женщины проводят время наедине, они бы никогда не женились. Лаура Лин Джибби, арахисовый леденец, немного миндального крема на шейке, немытые тарелки, полчаса разговора с ледником, чтение старых писем, пара солений и две бутылки экстракта из солода, час подглядывания через щель в жалюзи в квартиру напротив — вот и все. За двадцать минут до того, как он вернется с работы, она наводит порядок в доме, поправляет свой хвост, чтобы он не выглядывал, и достает много швейных вещей для десятиминутной показухи.

Я вел жизнь собаки в той квартире. Почти весь день я лежал в своем уголке, наблюдая, как жирная женщина убивает время. Иногда я засыпал и мечтал о том, как бегая за кошками в подвалы и рычу на старушек с черными варежками, как и должна делать собака. А она напрыгивала на меня с кучей болтовни и целовала в нос — но что я мог сделать? Собака не может жевать гвоздику.

Я начал жалеть мужа, черт возьми, если бы я этого не сделал. Мы так на него смахивали, что люди замечали нас, когда мы выходили на улицу; поэтому мы избежали улиц, которые покрывает такси Морганы, и предпочли взбираться на сугробы прошлого декабря, где живут бедные люди.

Однажды вечером, прогуливаясь, я старался выглядеть как победитель на выставке сенбернара, а старик пытался изображать, что не стал бы убивать первого органиста, услышавшего Мендельсона, я посмотрел на него и сказал:

— Почему ты такой кислый, ты, ларек с сосисками? Она тебя не целует. Тебе не нужно сидеть на ее коленях и слушать разговоры, которые могут звучать как либретто мюзикла.

«Ты должен быть благодарен, что ты не собака. Соберись, Бенедикт, и гони прочь хандру».

Жертва брака посмотрел на меня с почти собачьей разумностью в глазах.
«Эй, песик, — сказал он. — Хороший песик. Ты будто понимаешь меня. Что такое, песик? Кошки?»

Кошки! Будто мог говорить!

Но, конечно, он не мог понять. Людям было отказано в языке животных. Единственная общая основа для общения между собаками и людьми существует только в литературе.

В квартире напротив нас жила дама с черно-подпалым терьером. Ее муж водил его на поводке и каждый вечер выгуливал, но всегда возвращался домой бодрым и насвистывающим. Однажды я встретился нос к носу с этим терьером в коридоре и попросил объяснений.

«Слушай, Прыг-скок, — сказал я ему, — ты ведь знаешь, что настоящему мужчине не свойственно нянчиться с собакой на публике. Я ни разу не видел, чтобы кто-то шел с псом на поводке и при этом не выглядел так, будто хочет поколотить каждого, кто на него посмотрит. А твой хозяин каждый день возвращается домой довольный и веселый. В чем секрет? Только не говори мне, что ему это нравится».

«Он? — сказал терьер. — Да он просто использует натуральное средство. Он напивается. Сначала, когда мы выходим, он такой же скованный, как парень на пароходе, который предпочел бы играть в пэдро, когда все остальные делают банк. Но после восьми баров ему уже все равно, что у него на поводке — собака или сом. Я уже потерял два дюйма хвоста, пытаюсь увернуться от этих вращающихся дверей».

Этот намек от терьера — записывайте, варьете! — заставил меня задуматься.

Однажды вечером, около шести, моя хозяйка приказала ему подняться с дивана и вывести «Ловушку» на прогулку. Я скрывал это до сих пор, но именно так она меня называла. Черно-подпалый терьер звался «Сладенький». Думаю, у меня все же есть преимущество в этом соревновании имен. Хотя «Ловушка» — это все равно что пустая консервная банка, привязанная к хвосту собственного достоинства.

На тихой улице, в безопасном месте, я резко потянул поводок перед привлекательным, респектабельным баром. Я отчаянно рванулся к дверям, скулил, как собака из газетного репортажа, которая сообщает семье, что маленькая Алиса застряла в болоте, собирая лилии в ручье.

«Да чтоб мне провалиться, — сказал старик с ухмылкой, — если этот желтый сын содовой воды не приглашает меня выпить. Дай-ка подумать... когда я в последний раз сэкономил подошвы, оставляя одну ногу на подножке? Кажется, я...»

Я знал, что он поддался. Он заказал горячий скотч и устроился за столиком. Целый час он не давал лагерю Кэмпбеллов простаивать. Я сидел рядом, стучал хвостом по полу, подзывал официанта и ел бесплатные закуски, каких мама в своей квартире не могла бы приготовить, даже купив их в гастрономе за восемь минут до возвращения папы.

Когда запасы Шотландии подошли к концу, если не считать ржаного хлеба, старик развязал поводок от ножки стола и вывел меня на улицу, словно рыбак, вытаскивающий лосося. Там он снял мой ошейник и выбросил его на мостовую.

«Бедный песик, — сказал он. — Хороший песик. Теперь она тебя больше не поцелует. Это просто позор. Хороший песик, иди прочь, пусть тебя переедет трамвай, и ты будешь счастлив».

Но я не ушел. Я скакал и вертелся вокруг него, счастливый, как мопс на коврике.

«Ты, старая, облезлая, охотящаяся за кроликами и крадущая яйца собака! — сказал я ему. — Ты, завывающий на луну старый гончий пес, ты не видишь, что я не хочу тебя оставлять? Неужели ты не понимаешь, что мы оба — щенки в лесу, а хозяйка — это злобный дядя с кухонным полотенцем в одной руке и флаконом от блох в другой? Почему бы не бросить все это и не стать напарниками навсегда?»

Может, вы скажете, что он не понял — может, и так. Но он крепко взялся за горячий скотч и замер на минуту, задумавшись.

«Песик, — наконец сказал он, — мы живем не больше дюжины жизней на этой земле, и немногие из нас доживают до 300 лет. Если я когда-нибудь снова увижу ту квартиру, то я дурак, а если ты ее увидишь — то ты еще глупее. И это вовсе не комплимент. Держу пари 60 к 1, что „На запад, хо!“ выиграет с отрывом в длину таксы».

Поводка больше не было, но я весело побежал рядом с хозяином к парому на 23-й улице. А кошки по дороге радовались, что у них есть когти.

На стороне Джерси мой хозяин сказал какому-то прохожему, жующему булочку с изюмом:

«Мы с моим песиком направляемся в Скалистые горы».

Но больше всего мне понравилось, когда старик потянул меня за оба уха, пока я не взвыл, и сказал:

«Ты, обыкновенный, обезьяноголовый, крысинохвостый, сернистый сын половика! Знаешь, как я тебя назову?»

Я вспомнил про «Ловушку» и жалобно заскулил.

«Я назову тебя „Пит“, — сказал мой хозяин».

Если бы у меня было пять хвостов, я бы вилял ими всеми разом, чтобы выразить, насколько я счастлив.

IX

Любовный фильтр Икея Шонштейна

ГОЛУБОЙ СВЕТ — это аптечный магазин в центре города, между Бауэри и Первой авеню, где расстояние между двумя улицами самое короткое. Голубой Свет не считает фармацевтию делом безделушек, духов и содовой с мороженым. Если вы попросите обезболивающее, он не даст вам конфету.

Голубой Свет презирает трудосберегающие искусственные методы современной фармацевтики. Он размельчает свой опий и перколирует свой собственный лауданум и парижский сироп. До сих пор таблетки делаются за его высоким рецептурным столом — таблетки, скатывающиеся на его собственной плитке для таблеток, делятся шпателем, скатываются пальцами и большим пальцем, посыпаются обожженной магнезией и доставляются в маленьких круглых картонных коробках для таблеток. Магазин находится на углу, около которого играют толпы детей с рваными перьями и хохочущих, становящихся

кандидатами на леденцы от кашля и успокаивающие сиропы, ожидающие их внутри.

Икей Шонштейн был ночным клерком Голубого Света и другом своих клиентов. Так обстоят дела на Восточной стороне, где суть фармацевтики не глянцева. Здесь, как и должно быть, аптекарь — это советник, исповедник, наставник, способный и желающий миссионер и наставник, чьи знания уважают, чью тайную мудрость почитают, а его лекарства часто выливаются, не пробовавшись, в канаву. Поэтому нос Икея, с его роговыми очками и узкой, наклоненной от знаний фигурой, был хорошо знаком в округе Голубого Света, и его советы и замечания были очень желанны.

Икей жил и завтракал у миссис Риддл, два квартала отсюда. У миссис Риддл была дочь по имени Роза. Обходные маневры были напрасны — вы, должно быть, догадались — Икей обожал Розу. Она окрашивала все его мысли; она была экстрактом всех химически чистых и официальных веществ — аптека не имела ничего, что могло бы с ней сравниться. Но Икей был робким, и его надежды оставались неразрешимыми в менструуме его зажатости и страхов. За прилавком он был превосходным существом, спокойно осознающим свои особые знания и достоинства; вне его был слабонервным, слепым, проклятым водителем, шатким и с плохо сидящей одеждой, пропитанной химическими веществами и пахнущей соакотрином и валерианатом аммония.

Муха в мази Икея (всего трижды добро пожаловать, удачный штамп!) был Чанк МакГоуэн.

Господин МакГоуэн также пытался поймать яркие улыбки, которые Роза бросала. Но он был не аутфилдером, как Икей; он ловил их с битой. В то же время он был другом Икея и его клиентом, часто заходил в Голубой Свет, чтобы обработать ушиб йодом или заклеить порез резиновым пластырем после приятного вечера, проведенного вдоль Бауэри.

Однажды после полудня МакГоуэн зашел в магазин своим тихим, легким способом и сел, красивый, с гладким лицом, твердый, непоколебимый, добродушный, на табуретку.

“Икей”, — сказал он, когда его друг принес ступку и сел напротив, растирая бенджоин в порошок, — “занимайся своим ухом. Мне нужны лекарства, если у тебя есть то, что мне нужно.”

Икей внимательно осмотрел лицо господина МакГоуэна в поисках обычных признаков конфликта, но не нашел их.

“Сними пальто,” — велел он. “Догадываюсь, что тебя ножом в ребра кто-то вонзил. Я тебе много раз говорил, что эти дагоны тебя замочат.”

Господин МакГоуэн улыбнулся. “Не они,” — сказал он. “Не дагоны. Но ты угадал диагноз правильно — это под пальто, рядом с ребрами. Слушай! Икей — я с Розой собираемся сбежать и пожениться сегодня вечером.”

Левый указательный палец Икея был согнут за краем ступки, чтобы держать ее устойчиво. Он дал ей дикий удар пестиком, но не почувствовал его. Тем временем улыбка господина МакГоуэна исчезла, уступив место выражению растерянного мракобесия.

“Точнее,” — продолжил он, — “если она не передумает до того времени. Мы готовили путь для побега две недели. То она говорит, что согласна; в тот же вечер говорит, что нет. Мы договорились на сегодня вечером, и Роза держалась за решение два целых дня. Но до времени еще пять часов, и я боюсь, что она меня подставит, когда наступит момент.”

“Ты сказал, что тебе нужны лекарства,” — заметил Икей.

Господин МакГоуэн выглядел неудобно и подавленно — в таком состоянии он был нехарактерен. Он свернул журнал по медицине в рулон и с неудовлетворенным вниманием начал скручивать его вокруг пальца.

“Я бы не стал начинать этот двойной капкан без ошибок за миллион,” — сказал он. “У меня есть маленькая квартира в Гарлеме, с хризантемами на столе и чайником, готовым закипеть. И я нанял проповедника, который будет ждать нас у себя в 9:30. Мы обязаны это сделать. И если Роза не передумает!”

— Господин МакГоуэн замолк, обуреваемый сомнениями.

“Тогда не понимаю,” — сказал Икей коротко, — “почему ты говоришь о лекарствах и что я могу с этим сделать.”

“Старик Риддл меня совсем не любит,” — продолжил напряженный жених, пытаясь привести доводы. “Целую неделю не дает Роза выйти со мной. Если бы не потеряно было жилье, давно бы меня выгнали. Я зарабатываю \$20 в неделю, и она никогда не пожалеет, что сбежала с Чанком МакГоуэном.”

“Ты меня извини, Чанк,” — сказал Икей. “Я должен приготовить рецепт, который скоро заберут.”

“Слушай,” — сказал МакГоуэн, взглянув вверх внезапно, — “слушай, Икей, есть ли такое лекарство — какие-то порошки, которые сделают девушку более привлекательной, если ты их ей дашь?”

Губы Икея под носом скривились с презрением к простому просвещению; но до того как он успел ответить, МакГоуэн продолжил:

“Тим Лейси как-то сказал мне, что он получил их от врача на верхнем этаже и дал своей девушке с содовой. С самого первого приема она была на высоте, и все остальные выглядели как тридцать центов для нее. Через два месяца они поженились.”

Сильный и простой был Чанк МакГоуэн. Тот, кто знал людей лучше, чем Икей, мог бы увидеть, что его крепкое тело натянуто на тонкие проволоки. Как хороший полководец, готовящийся вторгнуться на территорию врага, он искал защиты каждого пункта от возможных неудач. «Я подумал, — продолжил Чанк с надеждой, — что если бы у меня был один из тех порошков, чтобы дать его Роза, когда я увижу её за ужином сегодня вечером, это могло бы подбодрить её и не дать передумать насчёт побега. Думаю, тащить её силком не понадобится, но женщины лучше справляются с наставлениями, чем с бегом по базам. Если штука подействует хотя бы на пару часов, этого будет достаточно».

«Когда же состоится эта глупость с побегом?» — спросил Айки.

«В девять часов», — ответил мистер Макгоуэн. «Ужин в семь. В восемь Роза ложится спать с головной болью. В девять старик Парвенцано пропустит меня

через свой двор, где в заборе Риддлов не хватает одной доски. Я подойду под её окно и помогу спуститься по пожарной лестнице. Нам нужно сделать это пораньше из-за проповедника. Всё просто, если Роза не передумает в последний момент. Ты можешь приготовить для меня этот порошок, Айки?»

Айки Шоэнштейн медленно потёр нос.

«Чанк, — сказал он, — с такими лекарствами аптекари должны быть очень осторожны. Из всех моих знакомых только тебе я мог бы доверить такой порошок. Но для тебя я его сделаю, и ты увидишь, как он повлияет на мысли Розы о тебе».

Айки зашёл за стойку с лекарствами. Там он растёр в порошок две растворимые таблетки, каждая из которых содержала четверть грана морфия. Затем он добавил немного молочного сахара, чтобы увеличить объём, и аккуратно завернул смесь в белую бумагу. Для взрослого человека этот порошок гарантировал несколько часов глубокого сна без риска для здоровья. Он передал его Чанку Макгоуэну, сказав, чтобы тот растворил его в жидкости, если возможно. В ответ Чанк горячо поблагодарил его, как настоящий Лохинвар из заднего двора.

Но тонкость замысла Айки стала очевидна позже. Он послал весточку мистеру Риддлу и раскрыл ему планы Макгоуэна насчёт побега с Розы.

Мистер Риддл был крепким мужчиной с кирпично-красным цветом лица и быстрым нравом.

«Большое спасибо», — коротко сказал он Айки. «Этот ленивый ирландский бездельник! Моя комната прямо над Розиной, я просто поднимусь туда после ужина, заряджу дробовик и подожду. Если он войдёт в мой двор, уедет не в свадебной карете, а в карете скорой помощи».

Роза, погружённая в объятия Морфея на долгие часы глубокого сна, и её кровожадный отец, вооружённый и предупреждённый — Айки чувствовал, что его соперник уже близок к поражению.

Всю ночь в аптеке «Голубой свет» он дежурил, надеясь услышать новости о трагедии, но ничего не произошло.

В восемь утра пришёл дневной клерк, и Айки поспешил к миссис Риддл, чтобы узнать, чем всё закончилось. И вот, выйдя из магазина, он вдруг увидел, как из проезжавшего трамвая спрыгнул Чанк Макгоуэн, крепко пожал ему руку и улыбнулся победной улыбкой.

«Всё получилось!» – сказал Чанк, сияя от счастья. «Рози вовремя спустилась по пожарной лестнице, и в 9:30 мы уже были у священника. Она сейчас у нас в квартире – утром приготовила яйца в голубом кимоно. Господи, какой же я счастлив! Айки, ты должен заглянуть к нам в гости как-нибудь и пообедать с нами. Я нашёл работу возле моста, и как раз туда сейчас направляюсь».

«А... а порошок?» – пробормотал Айки.

«А, та штука, что ты мне дал!» – Чанк улыбнулся ещё шире. «Ну, было так. Я сел за ужин у Риддлов, посмотрел на Розы и сказал себе: “Чанк, если уж ты собираешься заполучить девушку, делай это честно – никаких фокусов с такой порядочной девушкой.” Я оставил порошок в кармане. А потом мои глаза наткнулись на одного из присутствующих, у кого, как мне показалось, было недостаточно тёплое отношение к будущему зятю. Так что я выждал момент и высыпал этот порошок в кофе старому Риддлу – понял?»

Второй отрывок о брокере Максвелле:

Запах, витавший в воздухе, остановил его на месте. Этот аромат принадлежал мисс Лесли – он был только её.

Запах внезапно оживил её образ, почти сделал его осязаемым. Мир финансов мгновенно сжался до крошечной точки. А она была в соседней комнате – всего в двадцати шагах.

«К чёрту всё, сделаю это сейчас», – пробормотал Максвелл. «Почему я не сделал этого раньше?»

Он вбежал во внутренний кабинет с той же поспешностью, с какой бейсболист бросается на базу. Он рванул к столу стенографистки.

Она подняла глаза и улыбнулась. Лёгкий румянец проступил на её щеках, и её взгляд был добрым и открытым. Максвелл оперся локтем на её стол, всё ещё сжимая в руках кипу бумаг, а ручка торчала у него за ухом.

«Мисс Лесли, – начал он торопливо, – у меня есть всего минута. Я хочу кое-что сказать. Вы выйдете за меня? У меня не было времени ухаживать за вами как положено, но я действительно вас люблю. Говорите быстрее, пожалуйста – там ребята лупят по “Юнион Пасифик”».

«О чём вы говорите?» – воскликнула молодая женщина. Она вскочила на ноги и уставилась на него широко раскрытыми глазами.

«Вы не понимаете?» – нетерпеливо спросил Максвелл. «Я хочу, чтобы вы стали моей женой. Я люблю вас, мисс Лесли. Хотел сказать об этом, и вот выкроил

минутку в затишье. Меня уже зовут к телефону. Скажи им подождать, Питчер. Ну что, мисс Лесли?»

Стенографистка повела себя очень странно. Сначала она выглядела потрясённой, потом её глаза наполнились слезами, но вскоре она заулыбалась сквозь них, и одна её рука нежно обвилась вокруг шеи брокера.

«Теперь я поняла», — мягко сказала она. «Всё это дело так замотало вас, что вы забыли обо всём на свете. Сначала я даже испугалась. Но, Гарви, разве ты не помнишь? Мы поженились вчера вечером, в восемь часов, в маленькой церкви за углом».

Обставленная комната

БЕСПОКОЙНЫЙ, ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ, УСКОЛЬЗАЮЩИЙ, как и само время, — это некоторая большая часть населения района красного кирпича на нижнем Вест-Сайде. Бездомные, у них сотни домов. Они переселяются из одной обставленной комнаты в другую, всегда в поисках, вечно временные жители — временные в жилье, временные в сердце и разуме. Они поют «Дом, милый дом» в ритме рэгтайма; их божества и домашние святыньки помещаются в коробке для шляп; их виноградная лоза оплетается вокруг шляпы с картиной; резиновое растение — их фиговое дерево.

Итак, дома в этом районе, пережившие тысячу жильцов, должны были бы иметь тысячу историй, которые расскажут, большинство из которых, без сомнения, скучны; но было бы странно, если бы не нашлось хотя бы одного привидения в след за всеми этими блуждающими призраками.

Однажды вечером, после наступления темноты, молодой человек бродил среди этих рушащихся красных особняков, звонил в их звонки. На двенадцатом он поставил свой худой багаж на ступеньку и вытер пыль с ободка шляпы и лба. Звонок прозвучал слабо и далеко, как будто из каких-то удаленных, пустых глубин.

К двери этого, двенадцатого дома, в который он позвонил, подошла домработница, которая напомнила ему нездорового, переполненного червя, который съел свой орех до полой оболочки и теперь пытался заполнить пустоту съедобными жильцами.

Он спросил, есть ли комната для аренды.

«Войдите», — сказала домработница. Ее голос исходил из горла, которое, казалось, было покрыто шерстью. «У меня есть комната на третьем этаже, она пуста с прошлого понедельника. Хотите посмотреть?»

Молодой человек последовал за ней по лестнице. Слабый свет, не имеющий конкретного источника, ослаблял тени в коридоре. Они бесшумно ступали по ковру, который сам бы отказался от своего тканья. Казалось, что он стал растительным, деградируя в этом затхлом, безсолнечном воздухе до пышного лишайника или разрастающегося мха, который рос пятнами на лестнице и был вязким под ногами, как органическое вещество. На каждом повороте лестницы были пустые ниши в стенах. Возможно, когда-то в них стояли растения. Если так, то они погибли в этом гнилостном и загрязненном воздухе. Может быть, там когда-то стояли статуи святых, но было не трудно представить, как бесы и дьяволы вытащили их в темноте и унесли в нечестивые глубины какой-то обставленной ямы ниже.

«Вот комната», — сказала домработница своим шерстяным голосом. «Это хорошая комната. Она не часто бывает свободной. Прошлым летом здесь останавливались очень элегантные люди — не доставляли никаких проблем, платили вперед, точно до минуты. Вода в конце коридора. Спролс и Муни держали ее три месяца. Они поставили в театре водевиль. Мисс Беретта Спролс — вы, может, слышали о ней — о, это были только сценические имена — прямо там, над туалетным столиком, висело их свидетельство о браке, в рамке. Газ здесь, а вы видите, здесь много места для шкафа. Это комната, которая всем нравится. Она долго не остается пустой.»

«У вас много театральных людей здесь останавливается?» — спросил молодой человек.

«Они приходят и уходят. Хорошая часть моих жильцов связана с театром. Да, сэр, это театральный район. Актеры не задерживаются нигде долго. Я получаю свою долю. Да, они приходят, а потом уходят.»

Он снял комнату, заплатив за неделю вперед. Он сказал, что устал, и возьмет комнату сразу. Он отсчитал деньги. Комната была готова, сказала она, даже с полотенцами и водой. Когда домработница отошла, он снова задал вопрос, который носил на языке тысячу раз.

«Молодая девушка — мисс Вашнер — мисс Элоиза Вашнер — помните ли вы такую среди ваших жильцов? Она, вероятно, пела на сцене. Светлая девушка, среднего роста и стройная, с рыжевато-золотыми волосами и темной родинкой на левом брови.»

«Нет, я не помню такого имени. У этих театральных людей имена меняются так часто, как и их комнаты. Они приходят и уходят. Нет, я не припоминаю эту.»

Нет. Всегда нет. Пять месяцев бесконечных допросов и неизбежное отрицание. Столько времени, проведенного днем в вопросах к менеджерам, агентам,

школам и хорам; ночью среди зрителей театров — от звездных постановок до таких низких музыкальных залов, что он боялся найти то, что больше всего надеялся найти. Тот, кто любил ее больше всех, пытался найти ее. Он был уверен, что с тех пор как она исчезла из дома, этот огромный город, окруженный водой, держит ее где-то, но это было похоже на чудовищное болото, постоянно меняющее свои частицы, не имеющее фундамента, верхние гранулы которого сегодня поглощаются слизью и тиной завтра.

Обставленная комната приняла своего последнего гостя с первым блеском псевд *hospitality* — изможденное, бледное, поверхностное приветствие, как лукавая улыбка дамы с сомнительной репутацией. Молодой квартирант в кресле позволил этим мыслям неторопливо пробежать через свой разум, пока в комнату не начали проникать звуки и запахи. Он слышал в одной комнате хихиканье и бесконтрольный, беззаботный смех; в других — монолог брюзжащей женщины, грохот костей, колыбельную, и одно унылое плачевное стенание; выше его на банжо звучала мелодия с живым напором. Где-то хлопали двери; сотрясались эстакадные поезда; кошка жалобно мяукала на заднем заборе. И он вдыхал дыхание дома — не столько запах, сколько влажный привкус — холодный, затхлый запах, как из подземных склепов, смешанный с едким испарением линолеума и плесневелого, гнилого дерева.

И вдруг, пока он лежал там, комната наполнилась сильным, сладким ароматом миньонетты. Он пришел, как бы с одного порыва ветра, с такой уверенностью, флером и акцентом, что почти казалось, будто это живое существо. И мужчина воскликнул вслух: «Что, дорогая?» как будто его звали, вскочил и повернулся. Богатый аромат окутал его, обвинил его. Он протянул руки к нему, все его чувства на время смешались и перепутались. Как мог запах призвать его таким решительным образом? Конечно, это должен был быть звук. Но разве не был ли это звук, что коснулся его, ласкал его?

«Она была в этой комнате», — воскликнул он и вскочил, чтобы вырвать из неё знак, потому что знал, что узнает любую мелочь, которая принадлежала ей или к которой она прикасалась. Этот обволакивающий запах миньонетты, аромат, который она любила и сделала своим — откуда он?

Комната была просто небрежно убрана. На тонкой салфетке туалетного столика было разбросано полдюжины заколок для волос — этих скромных, неразличимых спутников женской судьбы, женственных по своей сути, бесконечных по настроению и немых по времени. Он проигнорировал их, осознавая их торжествующее отсутствие индивидуальности. Перерывая ящики комода, он наткнулся на заброшенный, маленький, потрепанный носовой платок. Он прижал его к лицу. Он был насыщен и дерзким ароматом гелиотропа; он швырнул его на пол. В другом ящике он нашел странные пуговицы, театральную программу, карточку из ломбарда, два потерянных зефирки, книгу о толковании снов. В последнем был черный атласный бант для

волос, который заставил его остановиться, застыв между льдом и огнем. Но черный атласный бант тоже является скромным, безличным, обычным украшением женственности и не рассказывает историй.

Затем он обошел комнату, как собака по следу, скользя по стенам, рассматривая углы вздувшегося ковролина на руках и коленях, роясь на камине и столах, занавесках и шторах, в пьянствующем шкафу в углу, в поисках видимого знака, не в силах осознать, что она была рядом, вокруг, против него, внутри, сверху, цепляясь за него, взывая к нему, зовя его так пронзительно через утонченные чувства, что даже его грубые восприятия стали воспринимать этот зов. Еще раз он громко ответил: «Да, дорогая!» и повернулся, широко раскрытыми глазами, чтобы взглянуть на пустоту, потому что он не мог еще различить формы и цвета, любви и протянутых рук в запахе миньонетты. О, Боже! откуда этот запах, и с каких пор запахи обрели голос, чтобы звать? Так он шарил.

Он копался в трещинах и углах, находя пробки и сигареты. Эти он отбрасывал с пассивным презрением. Но как-то раз он нашел в складке ковролина полусгоревшую сигару, и эту он растерзал под каблуком с зеленой и резкой руганью. Он обследовал комнату от конца до конца. Он нашел унылые и низкие следы множества странствующих квартирантов, но следов её, которую он искал, и чей дух, казалось, витал здесь, он не нашел.

И вот он подумал о домоправительнице.

Он выбежал из проклятой комнаты вниз по лестнице и к двери, из которой пробивался луч света. Она вышла по его стуку. Он постарался подавить своё волнение как мог.

«Скажите, мадам, — умолял он, — кто занимал эту комнату до меня?»

«Да, сэр. Я могу снова сказать вам. Это были Спроулс и Муни, как я говорила. Мисс Бретта Спроулс была в театре, но миссис Муни она была. Мой дом известен своей порядочностью. Свидетельство о браке висело, в рамке, на гвозде над...»

«Какой была мисс Спроулс — внешне, я имею в виду?»

«Ну, черные волосы, сэр, короткая и коренастая, с комичной мордочкой. Ушли они неделю назад во вторник.»

«А до того, кто занимал?»

«Да, был один холостяк, связанный с перевозками. Он ушел, должен был мне неделю. До него была миссис Краудер и её двое детей, которые пробыли четыре месяца; а раньше их был старый мистер Дойл, сыновья которого платили за

него. Он держал комнату шесть месяцев. Это было год назад, сэр, а дальше я не помню.»

Он поблагодарил её и вернулся в свою комнату. Комната была мертва. Суть, которая оживляла её, ушла. Запах миньонетты исчез. Вместо этого остался старый, затхлый запах плесневелой мебели, атмосферы на хранении.

Отлив его надежды осушил его веру. Он сидел, глядя на желтый, поющий газовый свет. Скоро он подошел к кровати и начал рвать простыни на полосы. Лезвием ножа он натянул их в каждую щель вокруг окон и дверей. Когда все было уютно и туго, он выключил свет, снова включил газ на полную и с благодарностью лег на кровать.

• • • • •

Это была ночь миссис МакКул, чтобы пойти с канистрой за пивом. Так она и сделала, а потом сидела с миссис Пёрди в одном из тех подземных уголков, где домоправительницы собираются и черви умирают редко.

«Я сдала свою третью комнату сегодня вечером», — сказала миссис Пёрди, через тонкую пену пива. «Молодой человек взял её. Он пошел спать два часа назад.»

«Правда ли, миссис Пёрди, мадам?» сказала миссис МакКул с глубоким восхищением. «Вы ведь просто чудо, что сдаете такие комнаты. И сказали ли вы ему, что...?» — закончила она в хриплом шепоте, полном тайны.

«Комнаты», — сказала миссис Пёрди своим наиболее меховым голосом, — «сдаются меблированными. Я ему не говорила, миссис МакКул.»

«Вы правы, мадам; благодаря сдаче комнат мы и живем. У вас настоящий деловой ум, мадам. Есть много людей, которые отвергли бы аренду, если бы им сказали, что в этой комнате кто-то покончил с собой.»

«Как вы говорите, мы должны зарабатывать на жизнь», — заметила миссис Пёрди.

«Да, мадам; это правда. Только неделю назад я помогала вам выкладывать третью комнату. Какая хорошенькая девушка была, что покончила с собой газом, такая милая личика была, миссис Пёрди, мадам.»

«Она бы считалась красивой, как вы говорите,» — согласилась миссис Пёрди, но с критическим оттенком, — «если бы не тот родинка, что росла у неё рядом с левым бровью. Наполните стакан снова, миссис МакКул.»

XVII

Краткий дебют Тилди

ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ заведения «Bogle's Chop House and Family Restaurant», то это ваша утрата. Потому что если вы один из тех счастливиц, кто питается дорого, вам будет интересно узнать, как другая половина потребляет продукты. А если вы принадлежите к той половине, для кого счета от официантов — это важная вещь, вам нужно знать «Bogle's», ведь там вы получаете свою цену — хотя бы в количестве.

«Bogle's» расположено на той самой магистрали буржуазии, на бульваре Браун-Джонс-и-Робинсон, на Восьмой авеню. В зале два ряда столов, по шесть в каждом ряду. На каждом столе стоит подставка для приправ, содержащая бутылочки с приправами и специями. Из перечницы вы можете стряхнуть облако чего-то безвкусного и унылого, напоминающего вулканическую пыль. Из солонки вы можете...

Очень печальный случай, — сказал он, складывая кончики ухоженных пальцев вместе. — Абсолютно неисправимая девушка. Я — Специальный Земной Офицер, преподобный Джонс. Это дело было поручено мне. Девушка убила своего жениха и покончила с собой. У неё не было оправдания. В моём отчёте для суда подробно изложены все факты, подтверждённые надёжными свидетелями. Возмездие за грех — смерть. Слава Господу.»

Судебный пристав открыл дверь и вышел.

«Бедная девушка, — сказал Специальный Земной Офицер, преподобный Джонс, со слезой на глазу. — Это один из самых печальных случаев, с которыми мне приходилось сталкиваться. Конечно, она была...»

«Оправдана, — сказал судебный пристав. — Иди сюда, Джонси. Ещё немного, и тебя отправят на картофельную кухню. Как тебе понравится миссионерская служба на островах Южных морей, а? Перестань делать эти ложные аресты, иначе тебя переведут — понял? Виновник, которого тебе стоит искать, — это рыжий, небритый, неряшливый мужчина, сидящий у окна, читающий в одних носках, пока его дети играют на улице. Давай, за работу.»

Ну разве не глупый сон?

XXXIII

Последний лист

В маленьком районе к западу от Вашингтонского Сквера улицы сошли с ума и разделились на маленькие участки, называемые «площадями». Эти «площади» образуют странные углы и кривые. Одна улица дважды пересекает саму себя.

Когда-то художник открыл ценную возможность на этой улице. Представьте себе, что коллекционер с квитанцией за краски, бумагу и холст, проходя по этому маршруту, вдруг встречает себя, возвращающегося, и при этом ни цента не заплатившего!

Так что в старинный Гринвич-Виллидж вскоре стали пробираться художники, ища северные окна, чердаки восемнадцатого века, голландские мансарды и низкие аренды. Затем они привезли несколько посудных кружек и два жарочных блюда с Шестой авеню и стали «колонией».

На вершине приземистого трехэтажного кирпичного здания располагалась студия Сью и Джонси. «Джонси» было сокращением от Джоанна. Одна была из Мэна, другая из Калифорнии. Они встретились в ресторане на Восьмой улице, в «Дельмонико», и их вкусы в искусстве, салате с цикорием и рукавах епископа оказались настолько похожи, что возникла общая студия.

Это было в мае. В ноябре холодный, невидимый незнакомец, которого врачи называли Пневмония, разгуливал по колонии, касаясь то тут, то там своим ледяным пальцем. На Восточной стороне этот разрушитель шагал смело, поражая своих жертв сотнями, но его шаги замедлялись, когда он продирался через лабиринт узких, мхом покрытых «площадей».

Мистер Пневмония не был тем, кого можно было бы назвать рыцарственным старым джентльменом. Маленькая женщина с кровью, разжиженной калифорнийскими зефирными ветрами, едва ли могла быть хорошей добычей для старого злодея с красными кулаками и одышкой. Но Джонси он поразил; она лежала, почти не двигаясь, на своей окрашенной железной кровати, смотря через маленькие голландские оконца на пустую стену соседнего кирпичного дома.

Однажды утром суетливый доктор пригласил Сью в коридор с косматой, серой бровью.

— У неё один шанс из... скажем, десяти, — сказал он, стряхивая ртуть в своем клиническом термометре. — И этот шанс состоит в том, чтобы она захотела жить. Это как-то так получается, что когда люди начинают походить на тех, кто работает с похоронными делами, вся фармакопея становится нелепой. Ваша маленькая дама решила, что не поправится. Есть ли у неё что-нибудь на уме?

— Она... она когда-то хотела нарисовать залив Неаполя, — сказала Сью.

— Рисовать? Чепуха! Есть ли у неё что-то на уме, что стоит обдумать дважды, например, мужчина?

— Мужчина? — сказала Сью с привкусом еврейской харпы в голосе. — Мужчина стоит... но нет, доктор, ничего такого нет.

— Ну, значит, это слабость, — сказал доктор. — Я сделаю всё, что могу, в рамках науки, что бы она могла дать через мои усилия. Но всякий раз, когда мой пациент начинает считать кареты в своей похоронной процессии, я уменьшаю

на 50 процентов целебную силу лекарств. Если вы заставите её задать хотя бы один вопрос о новых зимних стилях в манжетах для плащей, я обещаю вам шанс один из пяти вместо одного из десяти.

После того как доктор ушел, Сью пошла в рабочую комнату и выжала японскую салфетку до состояния кашицы. Затем она с напыщенной походкой зашла в комнату Джонси с рисовальной доской, насвистывая рэгтайм. Джонси лежала, почти не двигаясь под одеялом, с лицом, повернутым к окну. Сью прекратила насвистывать, думая, что она спит.

Она расставила доску и начала рисовать пером и чернилами иллюстрацию к журналу. Молодые художники должны прокладывать свой путь в искусство, рисуя картинки для рассказов, которые пишут молодые авторы, чтобы прокладывать свой путь в литературу.

Когда Сью рисовала элегантные брюки для верховой езды с подковообразным рисунком и моноклем на фигуре героя — айдахо-ковбоя, она услышала тихий звук, несколько раз повторившийся. Она быстро подошла к кровати.

Глаза Джонси были широко открыты. Она смотрела в окно и считала — считала назад.

— Двенадцать, — сказала она, а немного позже — «одиннадцать», затем «десять», «девять», и затем «восемь» и «семь», почти одновременно.

Сью озабоченно посмотрела в окно. Что она может считать? За окном виднелся только голый, унылый двор и пустая стена кирпичного дома в двадцати футах. Старое, старое плющевое вино, изогнутое и гниющее у корней, поднималось на полстены. Холодный осенний ветер сорвал с него листья, и теперь его скелетные ветви цеплялись почти голыми за разрушенные кирпичи.

— Что, дорогая? — спросила Сью.

— Шесть, — сказала Джонси, почти шепотом. — Они падают быстрее. Три дня назад их было почти сто. Мне было больно их считать. Но теперь это легко. Вот еще одно. Теперь их всего пять.

— Пять чего, дорогая? Скажи своей Судие.

— Листья. На плющевой лозе. Когда последний упадет, я тоже должна уйти. Я знала это уже три дня. Разве доктор не сказал тебе?

— О, я никогда не слышала такой чепухи, — пожаловалась Сью с великолепным презрением. — Как могут старые плющевые листья быть связаны с твоим выздоровлением? А ты так любила это вино, ты, непослушная девочка. Не будь гусыней. Почему, доктор сказал мне сегодня утром, что твои шансы на выздоровление очень хороши — давай посмотрим, что он сказал точно... он сказал, что шансы десять к одному! Почему, это почти так же, как и

в Нью-Йорке, когда мы едем в трамвае или проходим мимо нового здания. Попробуй немного бульона, а я вернусь к своим рисункам, чтобы продать их редактору и купить портвейн для больного ребенка и свиные отбивные для своей жадной девушки.

— Тебе не нужно больше вина, — сказала Джонси, не отводя глаз от окна.

— Вот еще одно. Нет, я не хочу бульона. Осталось всего четыре. Я хочу увидеть, как последний упадет, прежде чем стемнеет. Тогда я уйду тоже. Старый Берхман, с красными глазами, явно полными слез, закричал, выражая презрение и насмешку по поводу таких идиотских представлений.

“Вас!” - воскликнул он. “Разве есть такие люди в мире, которые умрут из-за того, что листья падают с чертового плюща? Я никогда о таком не слышал. Нет, я не буду позировать для вашего глупого отшельника-дурака. Почему вы позволяете такой глупости проникать в ее голову? Ах, эта бедная маленькая мисс Джонси.”

“Она очень больна и слаба,” - сказала Сью, - “и лихорадка оставила ее разум больным и полным странных фантазий. Очень хорошо, мистер Берхман, если вы не хотите позировать для меня, не надо. Но я думаю, что вы ужасный старый... старый болван.”

“Ты просто как женщина!” - закричал Берхман. “Кто сказал, что я не буду позировать? Давай. Я приду с тобой. Полчаса я пытался сказать, что я готов позировать. Боже! Это не место, где такая хорошая девушка, как мисс Джонси, должна болеть. Когда-нибудь я нарисую шедевр, и мы все уедем. Боже! Да.”

Джонси спала, когда они поднялись наверх. Сью опустила штору до подоконника и жестом указала Берхману в другую комнату. Там они настороженно выглянули в окно, опасаясь за плющ. Затем они посмотрели друг на друга, не произнося ни слова. Непрекращающийся холодный дождь с перемешанным снегом лил с неба.

Берхман, в своей старой голубой рубашке, сел на перевернутую кастрюлю, изображая отшельника-минера на камне.

Когда Сью проснулась после часа сна на следующее утро, она обнаружила, что Джонси с тусклыми широко открытыми глазами смотрит на опущенную зеленую штору.

“Подними!” - прошептала она. “Я хочу увидеть.”

Усталая, Сью послушно подняла штору.

Но вот! После того как дождь и яростные порывы ветра продолжались всю ночь, на кирпичной стене все еще висел последний лист плюща. Он был последним на лозе. Все еще темно-зеленый у основания, но с зубчатыми краями, окрашенными в желтый цвет разложения и упадка, он смело висел на ветке, которая находилась около двадцати футов от земли.

“Это последний,” - сказала Джонси. “Я думала, что он точно упадет ночью. Я слышала ветер. Он упадет сегодня, и я умру одновременно.”

“Дорогая, дорогая!” - сказала Сью, наклоняя свое измученное лицо к подушке. “Подумай обо мне, если не хочешь думать о себе. Что я буду делать?”

Но Джонси не ответила. Самое одинокое чувство в мире — это душа, когда она готовится к своему загадочному и далекому путешествию. Это желание овладело ею еще сильнее, когда одна за другой ослабли связи, которые держали ее с друзьями и с землей.

День прошел, и даже в сумерках они могли видеть одинокий лист плюща, цепляющийся за ветку на стене. А затем, с наступлением ночи, северный ветер снова начал свою бурю, а дождь все еще бил по окнам и стучал с низких голландских карнизов.

Когда стало достаточно светло, Джонси, неумолимая, приказала поднять штору.

Лист плюща все еще висел там.

Джонси лежала долго, смотря на него. И затем она позвала Сью, которая мешала куриный бульон на газовой плите.

“Я была плохой девочкой, Судии,” - сказала Джонси. “Что-то заставило этот последний лист остаться там, чтобы показать мне, как я была злой. Это грех — хотеть умереть. Ты можешь принести мне немного бульона, и молока с немного портвейна, и - нет; принеси мне сначала зеркальце, а потом подложи подушки вокруг меня, и я сяду и буду смотреть, как ты готовишь.”

Час спустя она сказала:

“Судии, когда-нибудь я надеюсь нарисовать залив Неаполя.”

Доктор пришел днем, и Сью нашла оправдание, чтобы выйти в коридор, когда он уходил.

“Равные шансы,” - сказал доктор, держа в своей руке худую, дрожащую руку Сью. “С хорошим уходом она победит. А теперь мне нужно осмотреть еще один случай, он внизу. Берхман, его зовут, он какой-то художник, кажется. Тоже

пневмония. Он старый, слабый человек, и атака острая. Нет для него надежды, но он поедет в больницу сегодня, чтобы ему было удобнее.”

На следующий день доктор сказал Сью: “Она вне опасности. Вы победили. Питание и забота теперь - вот и все.”

И тем же днем Сью пришла к кровати, где Джонси, довольная, вязала очень синий и совершенно бесполезный шерстяной шарф, и обняла ее, поднимая ее с подушками.

“Я хочу кое-что тебе сказать, белая мышка,” - сказала она. “Мистер Берхман умер от пневмонии сегодня в больнице. Он болел всего два дня. Смотритель нашел его утром первого дня в его комнате внизу, беспомощного от боли. Его обувь и одежда были промокшие и ледяные. Они не могли понять, где он был в такую ужасную ночь. А потом они нашли фонарь, все еще горящий, и лестницу, которую вытащили с места, и несколько разбросанных кисточек, и палитру с зеленым и желтым цветами, смешанными на ней, и - посмотри в окно, дорогая, на последний лист плюща на стене. Ты не удивлялась, почему он не тронулся и не шелохнулся, когда дул ветер? Ах, дорогая, это шедевр Берхмана - он нарисовал его той ночью, когда последний лист упал.”

Поэт и крестьянин

На днях мой поэтический друг, который всю свою жизнь живет в тесном общении с природой, написал стихотворение и отнес его редактору.

Это было живое пасторальное произведение, полное подлинного дыхания полей, пения птиц и приятного чириканья журчащих ручьев. Когда поэт снова пришел узнать о судьбе своего творения, надеясь на ужин с бифштексом, стихотворение было ему возвращено с комментарием:

«Слишком искусственно.»

Несколько из нас собрались за спагетти и кьянти из округа Датчес, поглощая возмущение с скользкими ложками. И там мы вырыли яму для редактора. Среди нас был Конант, хорошо известный писатель художественной литературы — человек, который всю свою жизнь ходил по асфальту и никогда не видел идиллических пейзажей, кроме как с отвращением из окон экспрессов. Конант написал стихотворение, назвав его «Олениха и Ручей». Это было прекрасное произведение того типа, который можно ожидать от поэта, который с Амариллисом гулял только по цветочным магазинам, а его единственное орнитологическое обсуждение состояло в разговоре с официантом. Конант подписал стихотворение, и мы отправили его тому же редактору.

Но это не имеет большого отношения к истории.

Как раз когда редактор читал первую строчку стихотворения на следующее утро, с парома на Западном побережье вышел человек и медленно побрел по Сорок второй улице.

Пришелец был молодым человеком с голубыми глазами, свисающей губой и волосами цвета маленькой сироты (которую позже выяснилось, что была дочерью графа) из одной из пьес мистера Блейни. Его брюки были вельветовыми, пиджак с короткими рукавами, с пуговицами на спине. Один сапог был снаружи брючины. Вы с нетерпением, но напрасно, смотрели на его соломенную шляпу в поисках ушных отверстий, форма которой вызывала подозрение, что она была украдена у предыдущего владельца - лошади. В руке он держал чемодан — описание его невозможно; бостонец не стал бы носить в нем свои обеды и юридические книги в офис. И над одним ухом в его волосах торчал пучок сена — письмо крестьянского доверия, его знак невинности, последний остаток из Рая, который стыдил людей с золотыми часами.

Знающие и улыбающиеся, городские толпы проходили мимо. Они видели, как незнакомец стоял в канаве и вытягивал шею к высоким зданиям. На это они переставали улыбаться и даже переставали смотреть на него. Это происходило слишком часто. Несколько человек взглянули на старинный чемодан, пытаясь понять, что за «аттракцион» или жевательная резинка из Кони-Айленда он запомнит. Но в основном его игнорировали. Даже газетчики казались скучающими, когда он, как цирковой клоун, перепрыгивал из-под колес такси и трамваев.

На Восьмой авеню стоял «Банко Гарри» с окрашенными усами и блестящими, добродушными глазами. Гарри был слишком хорошим артистом, чтобы не чувствовать боли от того, что актер слишком переигрывает свою роль. Он подошел к деревенщине, который остановился, чтобы заглянуть в витрину ювелирного магазина, и покачал головой.

«Слишком натянуто, приятель», — сказал он критически, — «слишком натянуто на пару дюймов. Не знаю, что ты тут замышляешь, но ты слишком заиграл с этим образом. Это сено, к примеру... да его даже на Прокторовском цирке больше не показывают.»

«Я вас не понимаю, мистер», — сказал новичок. «Я не ищу цирка. Я только что приехал из округа Ульстер посмотреть на город, потому что сенокос закончился. Черт побери, да тут целая махина! Я думал, что Покипси — это что-то, а этот город в пять раз больше.»

«Ну ладно», — сказал «Банко Гарри», поднимая брови, «я не хотел вмешиваться. Не нужно рассказывать. Я думал, что тебе стоит немного сгладить

свой образ, поэтому попытался помочь. Удачи тебе с твоими делами, что бы это ни было. Пойдем, выпьем.»

«Я не против выпить стаканчик пива», — признался другой.

Они пошли в кафе, которое часто посещали мужчины с гладкими лицами и хитрыми глазами, и сели за свои напитки.

«Рад, что встретил тебя, мистер», — сказал Хейлокс. «Как тебе сыграть пару партий в севен-ап? У меня есть карты.»

Он достал их из чемодана Ноя — редкая, неподражаемая колода, жирная от беконных ужинов и грязная от почвы кукурузных полей.

«Банко Гарри» громко и коротко засмеялся.

«Не для меня, приятель», — сказал он твердо. «Я не играю против такого образа за одну монету. Но все равно скажу — ты перегибал. Ребята с такими нарядами не одевались с '79 года. Не думаю, что ты сможешь в Бруклине обменять этот набор на заводные часы.»

«О, не думайте, что у меня нет денег», — похвастался Хейлокс. Он вытащил туго свернутую пачку купюр, величиной с чашку, и положил её на стол.

«Это моя доля с бабушкиного фермерского хозяйства», — заявил он. «В этой пачке 950 долларов. Подумал, что приеду в город, посмотрю, какой здесь бизнес можно развить.»

«Банко Гарри» взял пачку денег и посмотрел на неё с почти уважением в глазах.

«Я видел и похуже», — сказал он критически. «Но с таким нарядом тебе не удастся сделать это. Тебе нужно взять светло-коричневые туфли, черный костюм и соломенную шляпу с цветной лентой, много болтать о Питтсбурге и разнице в тарифах на перевозки, а на завтрак пить херес, чтобы проверить такие фокусы.»

«Что это за работа?» — спросили двое или трое хитроузокх мужчин у «Банко Гарри», когда Хейлокс забрал свои деньги и ушел.

«Какой-то странный тип, наверное», — сказал Гарри. «Или один из парней Жерома. Или какой-то парень с новым делом. Слишком деревенский. Может, это его — интересно... о нет, это не могли быть настоящие деньги.»

Хейлокс пошел дальше. Видимо, его снова мучила жажда, потому что он зашел в темное кабачковое заведение на боковой улице и купил пиво.

Несколько подозрительных типов стояли у одного конца бара. С первого взгляда их глаза загорелись, но когда они поняли, что его настойчивое и преувеличенное крестьянство стало очевидным, их выражения изменились на настороженное подозрение.

Хейлокс повесил свой чемодан на бар.

«Покажи это мне немного позже, мистер», — сказал он, жуя конец крепкой глиняной сигары. «Я вернусь, как немного потреплюсь. И следи за ним, ведь в нем 950 долларов, хотя, может, ты не подумал бы так, глядя на меня.» Где-то снаружи фониограф заиграл марширующую мелодию, и Хейлокс поспешил к нему, пуговицы на его пальто болтались на спине.

«Разделим? Майк», — сказали мужчины, стоявшие у бара, открыто подмигивая друг другу.

«Честно, — сказал бармен, отодвигая чемодан в сторону. — Ты не думаешь, что я на это клюну, правда? Любой увидит, что он не простак. Наверное, один из парней МакАду. Он настоящий блеск, если только не надел это специально. Больше в стране никто так не одевается, с тех пор как ввели сельскую бесплатную доставку в Провиденс, Род-Айленд. Если у него есть девятьсот пятьдесят долларов в чемодане, то это стопроцентно ржавый водяной насос с часами, которые остановились в десяти минутах до десяти.»

Когда Хейлокс исчерпал все возможности мистера Эдисона для развлечения, он вернулся за своим чемоданом. А затем, галопируя по Бродвею, он восторженно осматривал достопримечательности своими яркими голубыми глазами. Но, несмотря на всё это, Бродвей продолжал его отвергать холодными взглядами и саркастическими улыбками. Он был самым старым из «штампов», с которыми город должен был смириться. Он был настолько фальшивым, настолько ультра-деревенским, настолько преувеличенным в сравнении с самыми необычными продуктами сельского хозяйства, что вызывал лишь усталость и подозрение. А клочок сена в его волосах был настолько настоящий, свежий и пахнущий полями, что даже шулер убрал бы свои горохи и сложил стол при виде этого.

Хейлокс сел на каменные ступени и снова вытащил свой рулон желтых банкнот из чемодана. Сначала он оторвал двадцатку и позвал мальчика с газетами.

«Парень, — сказал он, — сходи куда-нибудь и обменяй мне это. Я почти без денег, думаю, ты получишь пять центов, если поторопишься.»

Мальчик взглянул на него с обиженным выражением лица через всю грязь.

«Эй, что ты думаешь! Иди и меняй свой смешной банкнот сам. У тебя и одежды нет сельской. Пошел-ка ты со своими деньгами на сцену.»

На углу стоял ловкий человек с острым взглядом, заведующий игорным домом. Он заметил Хейлокса, и его выражение лица вдруг стало холодным и благочестивым.

«Мистер, — сказал деревенский парень, — я слышал, что в этом городе есть места, где можно сыграть в старый cledge или поиграть в кено. У меня есть девятьсот пятьдесят долларов в этом чемодане, и я приехал из старого Ульстера посмотреть на достопримечательности. Знаешь, где можно поставить около 9-10 долларов? Я собираюсь развлечься, а потом, может, куплю какой-то бизнес.»

Человек взглянул на него с больным видом и стал осматривать белое пятно на ногте своего левого указательного пальца.

«Хватит, старик, — пробормотал он с укором. — Центральный офис, наверное, с ума сошел, раз послал тебя выглядеть таким деревенщиной. Ты и в двух кварталах не сможешь подойти к игре в кости на тротуаре в этом костюме. Недавний мистер Скотти из Долины Смерти тебя переплюнул на целый квартал в плане елизаветинского стиля и механических аксессуаров. Лучше уходи.»

Отказанный снова великим городом, который так быстро распознает фальшивку, Хейлокс сел на бордюр и начал размышлять о своем положении.

«Это моя одежда, — сказал он. — Черт возьми, так оно и есть. Думают, что я деревенщина, и не хотят иметь со мной ничего общего. Никто никогда не смел смеяться с этого шляпы в Ульстер-Каунти. Думаю, если хочешь, чтобы люди тебя заметили в Нью-Йорке, надо одеваться, как они.»

И так Хейлокс пошел за покупками на базары, где мужчины разговаривают через нос, потирают руки и с восторгом измеряют ткань на выпуклости его внутреннего кармана, в котором лежал красный початок кукурузы с четным количеством рядков. И носильщики с посылками и коробками в течение дня шли в его отель на Бродвее в свете фонарей Лонг-Акр.

В девять часов вечера он спустился на тротуар, и его уже не узнали в Ульстер-Каунти. Его туфли были ярко-коричневыми, шляпа — самой модной формы. Легкие серые брюки были глубоко заутюжены, яркий синий шелковый носовой платок торчал из кармана элегантного английского пиджака. Его воротник был настолько идеально отутюжен, что мог бы украсить витрину прачечной, его светлые волосы были подстрижены коротко, а клочок сена исчез.

На мгновение он встал, сияющий, с небрежным видом бульварного джентльмена, раздумывающего, как провести свой вечер. И потом он пошел по яркой улице с легкой и грациозной походкой миллионера.

Но в тот момент, как он остановился, самые умные и зоркие глаза в городе обратились к нему. Тучный человек с серыми глазами поднял двумя пальцами своих друзей с лавки перед отелем.

«Самый сочный простак, которого я видел за шесть месяцев, — сказал человек с серыми глазами. — Пойдем.»

В пол-одиннадцатого человек вбежал в полицейский участок на Западной 47-й улице, рассказывая о своих бедах.

«Девятьсот пятьдесят долларов, — задыхаясь, сказал он, — все мои деньги от бабушкиной фермы.»

Сержант с трудом вытащил из него имя Джейбеца Буллтонга из Локуст-Вэлли в Ульстер-Каунти и начал записывать описание сильных парней.

Когда Конант пришел к редактору узнать судьбу своего стихотворения, его приняли через голову офисного мальчика в главный офис, украшенный статуэтками Родена и Дж. Г. Брауна.

«Когда я прочитал первую строчку „Олениха и ручей“, — сказал редактор, — я понял, что это работа человека, чья жизнь была неразрывно связана с природой. Завершенное мастерство строки не ослепило меня этому факту. Чтобы привести несколько обыденных словесных сравнений, это было как если бы дикое, свободное дитя леса и полей надело модный костюм и пошло по Бродвею. Под этим нарядом проявился бы человек.»

«Спасибо, — сказал Конант. — Думаю, чек будет, как обычно, в четверг.»

Мораль этой истории как-то перемешалась. Вы можете выбрать, что вам больше подходит: «Оставайтесь на ферме» или «Не пишите поэзию».

XLVII I

Вещь — это представление

Знакомый репортер, который имел пару бесплатных билетов, взял меня на представление несколько ночей назад в один из популярных вавилевильных театров.

Один из номеров был соло на скрипке, исполненное ярким мужчиной, которому было немного за сорок, но с очень седыми, густыми волосами. Так как я не

особо увлекаюсь музыкой, я позволил звукам проходить мимо моих ушей, в то время как смотрел на мужчину.

«Была история об этом парне месяц или два назад», — сказал репортер. «Мне дали задание. Это должна была быть колонка, и она должна была быть легкой и шуточной. Старик, похоже, любит тот смешной стиль, который я использую для освещения местных событий. О, да, сейчас я работаю над фарсом. Ну, я пошел в дом и собрал все детали, но, конечно, я провалил эту задачу. Я вернулся и написал комичный репортаж о похоронах на восточной стороне вместо этого. Почему? О, я как-то не мог ухватиться за это своими забавными крючками. Может быть, ты сможешь сделать одноактную трагедию для начала. Я дам тебе все подробности.»

После представления мой друг, репортер, рассказал мне факты под звуки скрипки, с ее мучительными, просьбами. Ведь музыка завораживает даже самых благородных. Вороны могут клевать на твой рукав, не причиняя вреда, но тот, кто носит свое сердце на барабанной перепонке, не унесет его далеко от шеи.

Эта музыка и музыкант призвали ее, и рядом с ней честь и старая любовь удерживали ее назад.

«Прости меня», — умолял он.

«Двадцать лет — это долго, чтобы оставаться вдаль от того, кого ты говоришь, что любишь», — заявила она с очищающим оттенком.

«Как я мог узнать?» — просил он. «Я ничего не скрою от тебя. Той ночью, когда он ушел, я последовал за ним. Я был безумно ревнив. На темной улице я ударил его. Он не встал. Я осмотрел его. Его голова ударилась о камень. Я не хотел убивать его. Я был безумен от любви и ревности. Я спрятался рядом и видел, как его забрали в скорую помощь. Хотя ты вышла за него замуж, Хелен...»

«Кто ты?» — вскрикнула женщина с широко раскрытыми глазами, вырывая свою руку.

«Ты не помнишь меня, Хелен — того, кто всегда любил тебя больше всего? Я Джон Делани. Если ты можешь простить...»

Но она ушла, прыгая, спотыкаясь, спешно поднималась по лестнице к музыке и к тому, кто забыл, но знал ее как свою в каждом из своих двух существований, и, поднимаясь вверх, она рыдала, кричала и пела: «Фрэнк! Фрэнк! Фрэнк!»

Три смертных так играют с годами, как с бильярдными мячами, а мой друг, репортер, не мог увидеть в этом ничего смешного!

XL1 X

Блуждание в Афазии

Моя жена и я расстались в тот день именно так, как обычно. Она оставила свою вторую чашку чая, чтобы последовать за мной к передней двери. Там она сняла с моего лацкана невидимую нитку пуха (универсальный жест женщины, чтобы

заявить о своем праве собственности) и попросила меня беречься от простуды. У меня не было простуды. Затем последовал ее прощальный поцелуй — ровный поцелуй домашней жизни, ароматизированный “Юным Хайсоном”. Не было страха перед импровизацией, перед разнообразием, которое могло бы приправить ее бесконечные привычки. С ловкостью долгого опыта она косо поправила мою правильно застегнутую булавку для шарфа; и когда я закрыл дверь, я услышал, как ее утренние тапочки снова затопали по направлению к остывающему чаю.

Когда я вышел, у меня не было ни мысли, ни предчувствия того, что должно было произойти. Нападение пришло внезапно.

Много недель я трудился почти без отдыха над известным железнодорожным делом, которое я победил с триумфом всего несколько дней назад. На самом деле, я копался в праве почти без перерыва много лет. Несколько раз добрый доктор Вольни, мой друг и врач, предупреждал меня.

“Если ты не сбавишь обороты, Беллфорд,” говорил он, “ты вдруг развалишься. Либо твои нервы, либо твой мозг поддадутся. Скажи мне, проходит ли хоть неделя, чтобы в газетах не писали о случае афазии — о каком-то человеке, потерявшемся, блуждающем без имени, с исчезнувшим прошлым и личностью — и все это из-за маленького тромба в мозгу, вызванного переработкой или волнением?”

“Я всегда думал,” сказал я, “что тромб в этих случаях на самом деле можно найти на мозгах газетных репортеров.”

Доктор Вольни покачал головой.

“Болезнь существует,” сказал он. “Тебе нужен отдых или смена обстановки. Судебное заседание, офис и дом — вот и все, где ты бываешь. Для отдыха ты читаешь юридические книги. Лучше возьми предупреждение вовремя.”

“По четвергам вечером,” сказал я в защиту, “мы с женой играем в криббидж. По воскресеньям она читает мне еженедельное письмо от своей матери. То, что юридические книги не являются отдыхом, еще нужно доказать.”

Тогда утром, когда я шел, я думал о словах доктора Вольни. Я чувствовал себя так же, как обычно, возможно, даже в лучшем настроении, чем обычно.

Я проснулся с затекшими и застывшими мышцами от того, что долго спал на неудобном сидении дневного вагона. Я прислонился головой к спинке сиденья и попытался думать. После долгого времени я сказал себе: “Мне нужно какое-то имя.” Я начал рыться в карманах. Ни карточки, ни письма, ни бумаги или монограммы не нашел. Но в кармане пальто я нашел почти три тысячи

долларов в купюрах крупных номиналов. “Я, должно быть, кто-то, конечно,” повторил я себе, и снова задумался.

В вагоне было много людей, среди которых, как я подумал, должен был быть какой-то общий интерес, потому что они свободно общались и казались в хорошем настроении. Один из них — полный джентльмен в очках, окруженный явным запахом корицы и алоэ — занял пустую половину моего места с дружеским кивком и развернул газету. В перерывах между чтением мы беседовали, как это обычно делают путешественники, о текущих событиях. Я заметил, что мне удастся поддерживать разговор на такие темы с достоинством, по крайней мере, в памяти.

Со временем мой попутчик сказал:

“Ты один из нас, конечно. Отличная компания мужчин, которых Запад послал в этот раз. Я рад, что съезд провели в Нью-Йорке; я никогда не был на Востоке. Меня зовут Р. П. Болдер — Болдер и сын, из Хикори Гров, штат Миссури.”

Хотя я был не готов, я справился с ситуацией, как это делают мужчины, когда оказываются в трудной ситуации. Теперь мне предстояло провести крещение, и быть сразу младенцем, пастором и родителем. Мои чувства пришли на помощь моему более медленному мозгу. Настоящий запах лекарств от моего спутника дал мне одну идею; взгляд на его газету, где мой глаз встретил яркую рекламу, помог мне еще больше.

“Меня зовут,” сказал я бегло, “Эдвард Пинкхэммер. Я аптекарь, и мой дом в Корнополисе, штат Канзас.”

“Я знал, что ты аптекарь,” сказал мой попутчик любезно. “Я заметил затвердевшее место на твоём правом указательном пальце, где терка от пестика трется. Конечно, ты делегат на наш Национальный съезд.”

“Все эти люди — аптекари?” спросил я с удивлением.

“Да. Этот вагон пришел с Запада. И это твои старые аптекари тоже — не эти ваши патентованные таблетки и гранулы, которые используют автоматы вместо аптечного стола. Мы перколируем свой парагорику и катаем свои таблетки, и не против немного поторговать садовыми семенами весной и носить ассортимент конфет и обуви. Скажу тебе, Хэмпинкер, у меня есть идея для этого съезда — новые идеи — вот что они хотят. Знаешь, те бутылки с тартаратом антимония и натрия и с Рошельевой солью — один яд, а другой безвреден. Легко перепутать этикетки. Где аптекари обычно их держат? Ну, на максимально удаленных полках. Это неправильно. Я говорю, держите их рядом, чтобы, когда вам нужна одна, вы всегда могли сравнить с другой и избежать ошибок. Понял идею?”

“Мне кажется, это очень хорошая идея,” сказал я.

“Отлично! Когда я выдвину это на съезде, ты поддержишь. Мы заставим этих восточных профессоров, которые думают, что они единственные леденцы на рынке, выглядеть как гиподермические таблетки.”

“Если я могу быть полезен,” сказал я, разогреваясь, “то две бутылки — эээ...”

“Тартар антимония и калия и тартар натрия и калия.”

“Будут сидеть рядом,” закончил я решительно.

“Вот еще что,” сказал мистер Болдер. “Для наполнителя, при манипуляциях с массой таблеток, что ты предпочитаешь — магнезию карбонат или порошковый корень солодки?”

“Эээ... магнезию,” сказал я. Это было проще, чем другое слово.

Мистер Болдер недоверчиво взглянул на меня через свои очки.

“Дай мне солодку,” сказал он. “Магнезия будет крошиться.”

“Вот еще один из этих фальшивых случаев афазии,” сказал он, вскоре передав мне свою газету и указав пальцем на статью. “Не верю в них. Девять из десяти — мошенничество. Мужчина устает от своей работы и семьи, хочет хорошо провести время. Уходит куда-то, а когда его находят, он притворяется, что потерял память — не помнит своего имени, даже не признает родимое пятно на левом плече жены. Афазия! Тьфу! Почему бы им не остаться дома и не забыть?”

Я взял газету и прочитал, после ярких заголовков, следующее:

****“ДЕНВЕР, 12 июня. —** Элуин С. Беллфорд, известный юрист, таинственно исчез из своего дома три дня назад, и все попытки найти его оказались безуспешными. Господин Беллфорд — широко известный гражданин высшего уровня, пользовавшийся большим и прибыльным юридическим практикой. Он женат и владеет прекрасным домом и самой большой частной библиотекой в штате. В день своего исчезновения он снял значительную сумму денег из банка. Никто не видел его после того, как он покинул банк. Господин Беллфорд был человеком с исключительно спокойными и домашними наклонностями и, похоже, находил свое счастье в своем доме и профессии. Если есть хоть какая-то зацепка к его странному исчезновению, возможно, ее стоит искать в том, что он несколько месяцев был глубоко поглощен важным делом, связанным с железнодорожной компанией Q. Y. и Z. Компания. Есть опасения, что переработка могла повлиять на его психику. Прилагаются все усилия, чтобы выяснить местонахождение пропавшего человека».

— Мне кажется, вы не совсем лишены цинизма, мистер Болдер, — сказал я, прочитав депешу. — Это кажется мне подлинным случаем. Почему бы этому человеку, процветающему, счастливому в браке и уважаемому, вдруг решить оставить всё? Я знаю, что такие провалы в памяти случаются, и что люди могут оказаться в чужом городе без имени, без прошлого и без дома.

— Ах, чепуха и вздор! — воскликнул мистер Болдер. — Это просто забавы. Сейчас слишком много образования. Люди знают про афазию и используют её как оправдание. Да и женщины тоже поумнели. Когда всё заканчивается, они смотрят вам в глаза, совершенно научно, и говорят: «Он меня загипнотизировал».

Таким образом, мистер Болдер отвлекал меня своими рассуждениями, но ничем не помогал.

Мы прибыли в Нью-Йорк около десяти вечера. Я взял кэб до гостиницы и записался в реестре как «Эдвард Пинкхаммер». В тот момент меня охватило великолепное, дикое, опьяняющее чувство лёгкости — ощущение неограниченной свободы, новых, только что открывшихся возможностей. Я словно только что родился в этот мир. Старые оковы — какими бы они ни были — спали с моих рук и ног. Будущее раскинулось передо мной, как чистая дорога, на которую ступает младенец, но в моём распоряжении были знания и опыт взрослого мужчины.

Мне показалось, что гостиничный клерк посмотрел на меня на пять секунд дольше, чем следовало. У меня не было багажа.

— Конгресс фармацевтов, — сказал я. — Мой чемодан почему-то не прибыл.

Я достал пачку денег.

— Ах! — сказал он, показывая золотистый зуб. — У нас здесь остановилось немало делегатов с Запада.

Он позвонил в звонок, вызывая коридорного.

Я попытался придать своему образу больше правдоподобия.

— Среди нас, западных фармацевтов, назревает важное движение, — сказал я, — касающееся предложения на конгрессе о том, чтобы бутылки с тартратом сурьмы и калия и тартратом натрия и калия хранились рядом на одной полке.

— Господина в номер триста четырнадцать, — поспешно сказал клерк.

Меня быстро проводили в мою комнату.

На следующий день я купил чемодан и одежду и начал жить жизнью Эдварда Пинкхаммера. Я не утруждал себя попытками разобраться в загадках прошлого.

Нью-Йорк преподнёс мне бокал, полный искрящегося, пьянящего напитка, и я пил его с благодарностью. Ключи от Манхэттена принадлежат тому, кто способен их удержать. Ты должен быть либо гостем города, либо его жертвой.

Первые несколько дней были золотыми и серебряными. Эдвард Пинкхаммер, считая свой возраст всего лишь в часах, испытал редкую радость внезапного появления в таком ярком, неограниченном мире. Я сидел зачарованный на волшебных коврах театров и садов на крышах, которые уносили меня в странные, чарующие страны, полные весёлой музыки, красивых девушек и гротескных, смешных пародий на человечество.

Я ходил туда, куда хотел, не зная границ пространства, времени или приличий. Я ужинал в странных кабаре, за ещё более странными столиками, под звуки венгерской музыки и громкие крики порывистых художников и скульпторов. Или же я погружался в сияние ночной жизни, дрожащей в электрическом свете, среди мировой Времени или поведения. Я обедал в странных кабаре, за еще более странными столами d'hôte под звуки венгерской музыки и дикие крики переменчивых художников и скульпторов. Или, снова, там, где ночная жизнь трепещет в электрическом свете, как кинетоскопическое изображение, и мир моды, и его драгоценности, и те, кого они украшают, и мужчины, которые делают все три возможными, собираются для хорошего настроения и зрелищного эффекта. И среди всех этих сцен, которые я упомянул, я узнал одну вещь, которой раньше не знал. А именно, что ключ к свободе не находится в руках Лицензии, но Конвенция держит его. Вежливость имеет платный пункт, на котором нужно заплатить, иначе вы не сможете войти в страну Свободы. Во всей этой блеске, кажущемся беспорядке, параде, разврате я видел, как этот закон, незаметный, но железный, преобладает. Поэтому в Манхэттене вы должны подчиняться этим неписаным законам, и тогда вы будете свободней всех свободных. Если вы откажетесь быть связанным ими, вы наденете кандалы. Иногда, как вело мое настроение, я искал величественные, тихо шепчущие пальмовые залы, источающие запах жизни высшего общества и изысканной сдержанности, чтобы поужинать. Снова я спускался к водным путям на пароходах, набитых шумными, нарядными, необузданными, занимающимися любовью клерками и торговками к их грубым удовольствиям на островных берегах. И всегда была Бродвей - сверкающий, роскошный, хитрый, разнообразный, желанный Бродвей, растущий на тебе, как привычка к опиуму.

Однажды днем, когда я вошел в свой отель, жирный мужчина с большим носом и черными усами преградил мне путь в коридоре. Когда я попытался пройти мимо, он поприветствовал меня с оскорбительным знакомством.

«Привет, Беллфорд!» — громко воскликнул он. — «Что за черт ты делаешь в Нью-Йорке? Не знал, что что-то может оторвать тебя от твоей старой книжной норы. Миссис Б. с тобой или это небольшая деловая поездка в одиночку?»

«Вы ошибаетесь, сэр,» — холодно ответил я, освобождая руку из его захвата. — «Меня зовут Пинкхаммер. Прошу прощения.»

Мужчина отступил в сторону, явно ошеломленный. Когда я подошел к стойке рецепции, я услышал, как он позвал носильщика и сказал что-то о телеграфных бланках.

«Вы дадите мне счет,» — сказал я клерку, — «и чтобы мой багаж был доставлен через полчаса. Я не желаю оставаться там, где меня беспокоят мошенники.»

Тем днем я переехал в другой отель, спокойный, старомодный, на нижней Ферст-авеню.

Был ресторан, немного удаленный от Бродвея, где можно было поесть почти на свежем воздухе среди тропических растений. Тишина, роскошь и идеальное обслуживание сделали его идеальным местом для обеда или перекуса. Однажды днем я там шел к столу среди папоротников, когда почувствовал, как мне задели рукав.

«Мистер Беллфорд!» — воскликнул удивительно сладкий голос.

Я быстро обернулся и увидел даму, сидящую одна, дамой лет тридцати, с чрезвычайно красивыми глазами, которая смотрела на меня так, будто я был ее очень дорогим другом.

«Вы собирались пройти мимо меня,» — сказала она обвиняющим тоном. — «Не говорите мне, что вы меня не узнали. Почему бы нам не пожать друг другу руки — хотя бы раз за пятнадцать лет?»

Я сразу пожал ей руку. Сел напротив нее за стол. Я кивком вызвал официанта. Дама играла с апельсиновым льдом. Я заказал крем-менту. Ее волосы были красновато-бронзовыми. На них было невозможно смотреть, потому что невозможно было отвести взгляд от ее глаз. Но вы ощущали их, как ощущаете закат, когда смотрите в глубину леса в сумерках.

«Вы уверены, что знаете меня?» — спросил я.

«Нет,» — сказала она, улыбаясь, — «я никогда не была в этом уверена.»

«Что бы вы подумали,» — сказал я, немного беспокойно, — «если бы я сказал, что меня зовут Эдвард Пинкхаммер, из Корнополиса, Канзас?»

«Что бы я подумала?» — повторила она с веселым взглядом. — «Почему, что вы не привезли миссис Беллфорд в Нью-Йорк с собой, конечно. Хотела бы я, чтобы вы привезли. Мне бы хотелось увидеть Мариан.» Ее голос немного понизился. — «Вы совсем не изменились, Элуин.»

Я почувствовал, как ее чудесные глаза ищут мои, а мое лицо внимательно изучают.

«Да, изменились,» — поправила она, и в ее словах прозвучал мягкий, торжествующий оттенок; — «Теперь вижу. Ты не забыл. Ты не забыл ни за год, ни за день, ни за час. Я же говорила, что ты не сможешь.»

Я нервно поковырял соломинку в крем-менте.

«Уверен, что прошу прощения,» — сказал я, немного смущенный ее взглядом. — «Но именно в этом и проблема. Я забыл. Я забыл все.»

Она отвергла мое отрицание. Она вкусно рассмеялась, увидев что-то на моем лице.

«Я иногда слышала о вас,» — продолжала она. — «Вы довольно крупный юрист на Западе — в Денвере, не так ли, или в Лос-Анджелесе? Мариан, наверное, очень гордится вами. Вы, наверное, знали, что я вышла замуж через шесть месяцев после того, как вы. Вы, наверное, видели это в газетах. Одни только цветы стоили две тысячи долларов.»

Она упомянула пятнадцать лет. Пятнадцать лет — это много времени.

«Не будет ли слишком поздно,» — спросил я несколько нерешительно, — «поздравить вас?»

«Не если вы осмелитесь,» — ответила она с такой решимостью, что я замолчал и начал рисовать узоры на ткани своим ногтем.

«Скажите мне одну вещь,» — сказала она, наклоняясь ко мне с явным любопытством. — «Вещь, которую я хотела узнать много лет — просто из женского любопытства, конечно — осмелились ли вы с тех пор хотя бы раз прикоснуться, понюхать или взглянуть на белые розы — на белые розы, покрытые дождем и росой?»

Я сделал глоток крем-мента.

«Было бы бесполезно,» — сказал я вздохнув, — «если бы я повторил, что ничего не помню о таких вещах. Моя память полностью подводит меня. Не нужно говорить, как мне жаль.»

Дама оперлась руками на стол и снова ее глаза презрительно обошли мои слова и направились прямо ко мне в душу. Она тихо засмеялась, и в смехе прозвучала странная особенность — это был смех счастья, да, и удовлетворения — и страдания. Я попытался отвести взгляд от нее.

«Ты лжешь, Элуин Беллфорд,» — прошептала она с блаженством. — «О, я знаю, что ты лжешь!»

Я бессмысленно смотрел в папоротники.

«Меня зовут Эдвард Пинкхаммер,» — сказал я. — «Я приехал с делегатами на Национальный конгресс аптекарей. На повестке дня стоит вопрос о новом размещении бутылок с тартаром сурьмы и тартаром калия, в котором, скорее всего, вам будет мало интереса.»

У входа остановился блестящий ландо. Дама встала. Я взял ее за руку и поклонился.

«Мне очень жаль,» — сказал я ей, — «что я не могу помнить. Я мог бы объяснить, но боюсь, что вы не поймете. Вы не признаете Пинкхаммер, а я действительно не могу вообще представить — эти розы и другие вещи.» Прощайте, мистер Беллфорд, — сказала она, с её счастливой и печальной улыбкой, садясь в карету.

Я пошёл в театр той ночью. Когда я вернулся в свой отель, тихий человек в тёмной одежде, который, казалось, был занят тем, что тер пальцы рук шёлковой платочкой, вдруг появился у меня на пути.

— Мистер Пинкхаммер, — сказал он равнодушно, сосредоточив внимание на своём указательном пальце, — могу ли я попросить вас отойти в сторонку для короткого разговора? Здесь есть одна комната.

— Конечно, — ответил я.

Он проводил меня в маленькую частную гостиную. Там находились мужчина и женщина. Женщина, как я понял, была бы необыкновенно красивой, если бы её черты лица не были омрачены выражением тревоги и усталости. Она имела такой тип фигуры и такие черты лица, которые мне нравились. Она была в дорожном платье, пристально смотрела на меня с выражением крайней озабоченности и прикладывала дрожащую руку к груди. Я думаю, она бы сделала шаг вперёд, но мужчина остановил её жестом.

Затем он сам подошёл ко мне. Это был мужчина лет сорока, с немного поседевшими висками и с сильным, задумчивым лицом.

— Беллфорд, старик, — сказал он радушно, — рад снова тебя видеть. Конечно, мы знаем, что всё в порядке. Я предупреждал тебя, что ты переусердствовал. Теперь ты поедешь с нами и скоро вернёшься в норму.

Я иронично улыбнулся.

— Меня так часто называли “Беллфордом”, — сказал я, — что это уже не имеет остроты. Всё равно, в конце концов, это может надоест. Вы не хотите развлечь гипотезу, что моё имя — Эдвард Пинкхаммер, и что я никогда раньше вас не видел?

Прежде чем мужчина успел ответить, женщина разрыдалась.

— Элвин! — воскликнула она и бросилась ко мне, прижалась. — Элвин, — снова закричала она, — не разрывай моё сердце. Я твоя жена — скажи моё имя хотя бы раз — хотя бы один раз! Я бы предпочла увидеть тебя мёртвым, чем таким!

Я уважительно, но твёрдо расплёл её руки.

— Мадам, — сказал я строго, — прошу прощения, если я предложу вам не торопиться с выводами. Жаль, что меня и этого Беллфорда нельзя было бы держать рядом, как тартрата натрия и антимиония на одной полке для удобства

идентификации. Чтобы понять моё замечание, — заключил я с лёгкостью, — возможно, вам нужно будет обратить внимание на события Национальной конференции фармацевтов.

Женщина обратилась к своему спутнику и схватила его за руку.

— Что это, доктор Вольни? О, что это? — застонала она.

Он повёл её к двери.

— Иди в свою комнату на некоторое время, — сказал он. — Я останусь и поговорю с ним. Его ум? Нет, думаю, не ум — только часть мозга. Да, я уверен, что он восстановится. Иди в свою комнату и оставь меня с ним.

Женщина исчезла. Мужчина в тёмной одежде также вышел, продолжая маникюрить свои ногти с задумчивым видом. Я думаю, он остался в холле.

— Я хотел бы поговорить с вами немного, мистер Пинкхаммер, если позволите, — сказал тот мужчина, который остался.

— Очень хорошо, если вам это интересно, — ответил я, — и простите меня, если я буду вести разговор в удобной позе; я довольно устал. Я растянулся на диване у окна и закурил сигару. Он поставил стул рядом.

— Давайте говорить по существу, — сказал он мягко. — Ваше имя не Пинкхаммер.

— Я знаю это так же хорошо, как и вы, — сказал я спокойно. — Но у человека должно быть имя, пусть даже какое-то. Могу заверить вас, что я не особо восхищаюсь именем Пинкхаммер. Но когда приходится давать себе имя, внезапно не приходят в голову красивые варианты. А если бы это было Шерингхаузен или Скроугинс? Думаю, я неплохо справился с Пинкхаммером.

— Ваше имя, — сказал другой мужчина серьёзно, — Элвин С. Беллфорд. Вы один из самых известных адвокатов в Денвере. Вы страдаете от приступа афазии, который заставил вас забыть свою личность. Причина этого — чрезмерное усердие в вашей профессии, а может быть, и жизнь, лишённая естественного отдыха и удовольствий. Женщина, которая только что покинула комнату, — ваша жена.

— Она хорошая женщина, — сказал я после паузы, — я особенно восхищаюсь тоном коричневого в её волосах.

— Она достойна гордости. С момента вашего исчезновения, почти две недели назад, она почти не закрывала глаз. Мы узнали, что вы в Нью-Йорке, по

телеграмме от Исидора Ньюмана, путешествующего торговца из Денвера. Он сообщил, что встретил вас в отеле здесь, и что вы не узнали его.

— Думаю, я помню этот случай, — сказал я. — Этот парень назвал меня “Беллфордом”, если я не ошибаюсь. Но разве не пора вам представиться?

— Я Роберт Вольни — доктор Вольни. Я был вашим близким другом двадцать лет и вашим врачом пятнадцать лет. Я приехал с госпожой Беллфорд, чтобы найти вас, как только получили телеграмму. Попробуйте, Элвин, старик, попробуйте вспомнить!

— Какой смысл пытаться! — спросил я с небольшим нахмуриванием. — Вы говорите, что вы врач. Лечится ли афазия? Когда человек теряет память, она возвращается постепенно или внезапно?

— Иногда постепенно и неполноценно, иногда так же внезапно, как и исчезла.

— Возьмётесь ли вы за лечение моего случая, доктор Вольни? — спросил я.

— Старый друг, — сказал он, — я сделаю всё, что в моих силах, и сделаю всё, что наука может сделать, чтобы вы поправились.

— Хорошо, — сказал я. — Тогда считайте, что я ваш пациент. Всё теперь в рамках конфиденциальности — профессиональной конфиденциальности.

— Конечно, — сказал доктор Вольни.

Я встал с дивана. Кто-то поставил вазу с белыми розами на центральный стол — букет свежих белых роз, посыпанных дождём и росой. Я выбросил их далеко в окно, а затем снова лег на диван.

— Лучше, Бобби, — сказал я, — пусть это излечение произойдёт внезапно. Всё равно мне это надоело. Ты можешь идти теперь и привести Мариан. Но, ох, Док, — сказал я с вздохом, пнув его по голени, — хороший ты мой Док, это было великолепно!

Муниципальный отчёт

Города полны гордости,
Вызывая друг друга на спор —
Этот с горы,
Тот с нагруженного пляжа.
Р. КИПЛИНГ.

Представьте себе роман о Чикаго или Баффало, скажем, или о Нэшвилле, штат Теннесси!

В Соединённых Штатах есть только три больших города, которые можно назвать «городами-историями»:

Нью-Йорк, конечно, Новый Орлеан и, лучший из всех, Сан-Франциско.

— ФРАНК НОРРИС.

Восток — это Восток, а Запад — это Сан-Франциско, по мнению калифорнийцев.

Калифорнийцы — это не просто жители штата. Это отдельная раса людей, они южане Запада.

Чикагцы не менее преданы своему городу; но когда вы спрашиваете их, почему, они запинаятся и начинают говорить о рыбе озера и новом здании «Оуд Феллоуз». Но калифорнийцы идут в детали.

Конечно, климат — это их аргумент, который можно обсуждать полчаса, пока вы думаете о своих счётах за уголь и тяжёлом нижнем белье. Но как только они принимают ваше молчание за убеждение, на них накатывает безумие, и они рисуют город Золотых Ворот как Багдад Нового Света. На данный момент, с точки зрения мнения, опровержение не требуется. Но, дорогие кузены (от Адама и Евы), дерзко и рискованно будет указать пальцем на карту и сказать: «В этом городе не может быть романа — что здесь может произойти?» Да, это смелый и отчаянный поступок — бросить вызов в одном предложении истории, роману и географическим картам Рэнда и МакНалли.

НЭШВИЛЛ.

Город, порт доставки и столица штата Теннесси, расположен на реке Камберленд и на железных дорогах N.C. & St. L. и L. & N. Этот город считается важнейшим образовательным центром на Юге.

Я сошел с поезда в 8 часов вечера. Исследовав словарь в поисках эпитетов, я вынужден, в качестве замены, обратиться к сравнению в виде рецепта.

Возьмите 30 частей лондонского тумана; 10 частей малярии; 20 частей утечек газа; 25 частей росы, собранной на кирпичном заводе на рассвете; 15 частей запаха жасмина. Смешайте.

Эта смесь даст вам приблизительное представление о том, как выглядит дождик в Нэшвилле. Он не так ароматен, как мольный шарик, и не так густ, как гороховый суп, но «достаточно» — «послужит».

Я поехал в отель на фаэтоне. Мне было трудно сдержать себя от того, чтобы не взобраться на него и не сделать имитацию Сиднея Картон. Повозка была запряжена животными ушедшей эпохи, а управлял ею кто-то тёмный и освобожденный.

Я был сонный и усталый, поэтому, когда я добрался до отеля, быстро заплатил полдоллара, который он требовал (с приблизительным чаевым, уверяю вас). Я

знал его привычки и не хотел слышать, как он будет говорить о своём старом «мостере» или о том, что было «до войны».

Отель был того типа, который называют «отремонтированным». Это означает \$20,000 новых мраморных колонн, плитки, электрических огней и медных кастрюль в холле, нового расписания железных дорог L. & N. и литографического изображения горы Лук-аут в каждом из больших номеров. Управление было безупречным, внимание полным южной вежливости, обслуживание таким же медленным, как продвижение улитки, но с таким же хорошим настроением, как у Рипа Ван Винкля. Пища стоила того, чтобы ехать сюда за тысячу миль. Нет другого отеля в мире, где бы вы могли попробовать такие куриные печенья на шампуре.

За ужином я спросил чернокожего официанта, есть ли что-то интересное в городе. Он задумался на минуту и ответил:

«Ну, босс, я не думаю, что здесь что-то происходит после захода солнца».

Солнце уже село; оно утонуло в дожде задолго до этого. Поэтому этот спектакль был мне не дан. Но я вышел на улицы в дожде, чтобы посмотреть, что там.

Город построен на холмистой местности; улицы освещены электричеством за \$32,470 в год.

Когда я вышел из отеля, начался расовый бунт. На меня ринулась группа освободившихся людей, арабов или зулусов, вооружённых — нет, я с облегчением понял, что это не ружья, а кнуты. И я смутно увидел караван чёрных громоздких повозок, и на ободряющие крики «Куарью куда угодно в городе, босс, за 50 центов», я понял, что я просто «пассажир», а не жертва.

Я прошёл через длинные улицы, все ведущие в гору. Мне было интересно, как эти улицы спускаются обратно. Наверное, они не спускаются, пока их не «выравнивают». На некоторых «главных улицах» я увидел огоньки в магазинах здесь и там, видел трамваи, которые перевозили порядочных граждан туда и сюда, видел, как люди проходят, ведя беседу, и слышал всплеск полуживого смеха, доносящегося из магазина газировки и мороженого. Улицы, отличные от «главных», похоже, привлекали к своим границам дома, посвящённые миру и домашнему очагу. В некоторых из них светились огоньки за осторожно закрытыми шторами, в нескольких pianos играли аккуратную и безупречную музыку. Здесь действительно не было «особого». Жаль, что я не приехал до захода солнца. Поэтому я вернулся в отель. Я должен рассказать вам, как я оказался в Нэшвилле, и уверяю вас, что это отступление доставляет мне столько же скуки, сколько и вам. Я путешествовал по своим делам, но получил задание от одного северного литературного журнала заехать туда и установить личный контакт между изданием и одним из его авторов, Азалией Адеар.

Адеар (кроме почерка не было никаких указаний на личность) прислала несколько эссе (утраченного искусства!) и стихотворений, которые заставили редакторов одобрительно произнести слова за своим обедом в час дня. Поэтому они поручили мне найти эту Адеар и уговорить ее подписать контракт на два цента за слово, прежде чем какой-нибудь другой издатель предложит ей десять или двадцать.

На следующее утро в девять часов, после того как я поел куриные печенки на шампурах (попробуйте, если сможете найти этот отель), я вышел на улицу под дождик, который продолжался без ограничения по времени. На первом углу я встретил дядю Цезаря. Это был крепкий негр, старше пирамид, с серыми волосами и лицом, которое напомнило мне Брута, а через секунду — покойного короля Сетевоя. Он был одет в самое удивительное пальто, которое я когда-либо видел или, наверное, увижу. Оно доставало до его щиколоток и когда-то было серым цветом конфедерата. Но дождь, солнце и старость так изменили его, что пальто Иосифа рядом с ним выглядело бы до бледного однотонного цвета. Мне нужно задержаться на этом пальто, потому что оно имеет отношение к истории — истории, которая так долго не начинается, потому что в Нэшвилле сложно ожидать чего-то значительного.

Когда-то это, должно быть, было военное пальто офицера. Его накидка исчезла, но по всей передней части пальто были роскошные пуговицы и кисточки. Теперь эти пуговицы и кисточки исчезли. Вместо них были аккуратно пришиты (как я предположил, какой-то выжившей «черной мамой») новые пуговицы из ловко скрученной простой веревки. Эта веревка была изношена и растрепана. Она, должно быть, была пришита в качестве замены исчезнувшему великолепию, безвкусно, но усердно, следуя изгибам давно исчезнувших пуговиц. И чтобы завершить комедию и патос одежды, все пуговицы исчезли, кроме одной. Оставалась только вторая пуговица от верха. Пальто было застегнуто другой веревкой, продетой через петли и другие отверстия, грубо пробитые на противоположной стороне. Это было самое странное пальто, так фантастически украшенное и имеющее так много пятнистых оттенков. Одна пуговица была размером с полдоллара, сделана из желтого рога и пришита грубой веревкой.

Этот негр стоял у кареты, которая была такой старой, что сам Хэм мог бы начать извозить на ней после того, как покинул ковчег с двумя животными, привязанными к ней. Когда я подошел, он открыл дверь, вытащил кожаную накидку, помахал ею, не используя, и сказал глубоким, грохочущим голосом: «Проходите, сэр, в ней нет ни пылинки — только что с похорон, сэр».

Я понял, что на таких торжественных случаях кареты подвергаются дополнительной уборке. Я осмотрелся по улице и заметил, что среди транспортных средств, стоявших на обочине, не было большого выбора для аренды. Я заглянул в свой записник, чтобы найти адрес Азалии Адеар.

«Я хочу поехать на 861 Джессамине-стрит», — сказал я и уже собирался сесть в карету. Но на мгновение толстая, длинная, похожая на гориллу рука старого негра преградила мне путь. На его массивном и мрачном лице на секунду мелькнуло выражение подозрения и враждебности. Затем, быстро возвращаясь к прежней уверенности, он спросил с улыбкой:

«Что вам там нужно, босс?»

«Что это вам за дело?» — спросил я немного резко.

«Ничего, сэр, просто ничего. Просто это такая одинокая часть города, и мало кто там бывает. Проходите, сиденья чистые — только что с похорон, сэр». Он ведет обширную торговлю печами и посудой с Западом и Югом, а его мукомольные мельницы имеют ежедневную мощность более 2000 баррелей. Азалия Эдеир, казалось, задумалась.

— Я никогда не думала об этом так, — сказала она с искренней интенсивностью, которая, похоже, была ей свойственна. — Разве не в тихих, спокойных местах происходят настоящие события? Мне кажется, что когда Бог начал создавать землю в первое утро понедельника, можно было бы выглянуть в окно и услышать, как капли грязи брызжут с его мастерка, когда он возводил вечные горы. Что в конце концов привел самый шумный проект в мире — я имею в виду строительство Вавилонской башни? Страница и полторы эсперанто в «North American Review».

— Конечно, — сказал я банально, — человеческая природа везде одинакова; но в некоторых городах больше цвета — э-э — больше драмы, движения и — э-э — романтики, чем в других.

— На поверхности, — сказала Азалия Эдеир. — Я путешествовала много раз по всему миру в золотом воздушном корабле, развиваемом двумя крыльями — печатью и мечтами. Я видела (в одном из своих воображаемых туров) султана Турции, который собственноручно перекрутил лук одной из своих жен, которая открыла лицо на публике. Я видела, как мужчина в Нэшвилле разорвал свои театральные билеты, потому что его жена выходила с закрытым лицом — с пудрой из риса. В китайском квартале Сан-Франциско я видела, как рабыня Синг И с медленным шагом погружалась, дюйм за дюймом, в кипящее миндальное масло, чтобы заставить её поклясться, что она никогда больше не увидит своего американского возлюбленного. Она сдалась, когда кипящее масло достигло трех дюймов выше её колена. На вечеринке по игре в эвкер в Восточном Нэшвилле на днях я видела, как Китти Морган была проигнорирована семьей своими одноклассниками и пожизненными друзьями, потому что она вышла замуж за маляра. Кипящее масло было так же горячо, как её сердце; но я бы хотела, чтобы вы видели ту маленькую улыбку, которую она носила от стола к столу. Ах, да, это скучный город. Всего несколько миль красных кирпичных домов, грязи, магазинов и лесопилок.

Кто-то постучал глухо в заднюю часть дома. Азалия Эдеир мягко извинилась и пошла расследовать звук. Через три минуты она вернулась с сияющими глазами, лёгким румянцем на щеках и десятилетиями, снятыми с её плеч.

— Вы должны выпить чашку чая перед уходом, — сказала она, — и сахарный пирог.

Она протянула руку и потрясла маленьким железным колокольчиком. Вошла маленькая негритянка лет двенадцати, босая, не очень аккуратная, с глазами, выпученными от любопытства и пальцем в рот.

Азалия Эдеир открыла маленькую, изношенную сумочку и извлекла долларовую купюру, в верхнем правом углу которой не хватало кусочка, порванную пополам и склеенную полоской синей бумаги. Это была та самая купюра, которую я дал пиратскому негру — в этом не было сомнений.

— Иди в магазин мистера Бейкера на углу, Импи, — сказала она, протягивая девушке долларовую купюру, — купи четверть фунта чая — того, который он всегда мне присылает, — и десятицентовый сахарный пирог. Поторопись. Чай в доме как раз закончился, — объяснила она мне.

Импи ушла задним ходом. Ещё до того, как её босые, твердые шаги стихли на задней веранде, по дому раздался дикий крик — я был уверен, что это был её голос — и потом глубокие, хриплые тона злого мужского голоса смешались с дальнейшими вскриками девушки и непонимаемыми словами.

Азалия Эдеир встала без удивления или эмоций и исчезла. Два минуты я слышал хриплый голос мужчины, затем что-то вроде проклятия и лёгкий скандал, и она вернулась спокойно к своему креслу.

— Это просторный дом, — сказала она, — и у меня есть арендаторы для его части. Мне жаль, что я вынуждена отменить приглашение на чай. Не удалось получить тот, который я всегда использую в магазине. Возможно, завтра мистер Бейкер сможет предоставить мне его.

Я был уверен, что Импи не успела покинуть дом. Я спросил про трамвайные маршруты и попрощался. Когда я уже был в пути, я вспомнил, что не узнал имя Азалии Эдеир. Но завтра было время для этого. Пока я стоял там, пальцы правой руки «человека, который был», висящие с боку белой сосновой коробки, расслабились и уронили что-то мне под ноги. Я тихо прикрыл это одной ногой, а немного позже поднял и положил в карман. Я подумал, что в своей последней борьбе его рука, должно быть, схватила этот предмет невольно и удерживала его в смерти.

В тот вечер в гостинице основной темой обсуждения, за исключением, возможно, политики и запрета алкоголя, была смерть майора Касвелла. Я слышал, как один мужчина говорил группе слушателей:

— По моему мнению, господа, Касвелла убили какие-то бездельники-негры ради его денег. У него было пятьдесят долларов, которые он показал нескольким господам в гостинице. Когда его нашли, денег при нём не было.

Я покинул город на следующее утро в девять, и когда поезд пересекал мост через реку Камберленд, я вытащил из кармана жёлтую пуговицу от пальто

размером с монету в пятьдесят центов, с обвязанными концами грубого шнура, и выбросил её из окна в медленно текущие грязные воды внизу.

Интересно, что там происходит в Буффало!

Доказательство пудинга

Весна подмигнула глазом редактору Вестбруку из журнала Минерва и сбила его с пути. Он пообедал в своем любимом уголке в отеле на Бродвее и возвращался в свой офис, когда его ноги запутались в заманчивом облике весенней кокетки. Это означает, что он повернул на восток на 26-й улице, безопасно пересек весеннее наводнение машин на Пятой авеню и прогуливался по аллеям расцветающего Мэдисон-сквера.

Мягкий воздух и обстановка маленького парка почти составляли пасторальную картину; цветовая гамма была зеленой — цветом, который был доминирующим при создании человека и растительности.

Незрелая трава между аллеями была цвета вердигри — ядовито-зеленого, напоминая о куче заброшенных людей, что дышали этой землей летом и осенью. Лопающиеся почки деревьев выглядели странно знакомыми для тех, кто ботанизировал среди украшений на блюде рыбы за сорок центов. Небо над головой было того бледного аквамаринного оттенка, который поэты из холловых рифмуют с “истинным”, “Сью” и “куку”. Единственный натуральный и откровенный цвет, который был виден, это был явный зеленый недавно покрашенных скамеек — оттенок, который между цветом маринованного огурца и оттенком прошлогоднего дождевика-резины. Но для городского взгляда редактора Вестбрука пейзаж представлялся шедевром.

А теперь, независимо от того, относитесь ли вы к тем, кто торопится, или к тем, кто боится ступить, вы должны следовать краткому вторжению в ум редактора.

Дух Вестбрука был удовлетворен и умиротворен. Апрельский выпуск Минервы продал всю свою тираж до десятого числа месяца — продавец газет в Кеокуке написал, что он мог бы продать еще пятьдесят экземпляров, если бы они у него были. Владельцы журнала повысили его (редактора) зарплату; он только что установил в своем доме драгоценную недавно импортированную повариху, которая боялась полицейских; а утренние газеты полностью напечатали речь, которую он произнес на банкетном приеме издателей. Также в его разуме звучали ликующие ноты замечательной песни, которую его очаровательная молодая жена пела ему перед тем, как он ушел из своей квартиры утром. Она в последнее время проявляла большой интерес к музыке, тренируясь рано и усердно. Когда он похвалил ее за улучшение голоса, она буквально обняла его от радости за похвалу. Он также чувствовал

благосклонное, тонизирующее действие воспитанной медсестры, Весны, которая мягко ступала по палате выздоравливающего города.

Когда редактор Вестбрук прогуливался между рядами скамеек в парке (которые уже заполнялись бродягами и охранниками беззаконного детства), он почувствовал, как его рукав схватили и держат. Подозревая, что он может быть обманут, он повернул холодное и бесполезное лицо и увидел, что его захватил — Даун — Шаклфорд Даун, грязный, почти потрепанный, в нем почти не было следов изысканности, лишь глубокие следы бедности.

Пока редактор пытается выйти из состояния удивления, предлагается краткая биография Дауна.

Он был писателем, и одним из старых знакомых Вестбрука. Когда-то они могли бы называть друг друга старыми друзьями. У Дауна были деньги в те дни, и он жил в приличном доме неподалеку от Вестбрука. Обе семьи часто ходили в театры и ужины вместе. Госпожа Даун и госпожа Вестбрук стали “дорогими” подругами. Затем, однажды, маленькая щупальце осьминога, ради забавы, поглотило капитал Дауна, и он переехал в район Грэймерси-Парк, где за несколько грошей в неделю можно сидеть на чемодане под восьмиветвистыми люстрами и напротив мраморных каминов Каррары, наблюдая, как на полу играют мыши. Даун решил зарабатывать на жизнь писательством. Время от времени он продавал рассказ. Он отправлял многие в Минерву. Журнал напечатал один или два из них; остальные были возвращены. Вестбрук присылал тщательно составленные личные письма с каждым отклоненным рукописью, подробно объясняя причины, почему он считал их непригодными. У редактора Вестбрука было четкое представление о том, что составляет хорошую литературу. Так было и у Дауна. Госпожа Даун в основном беспокоилась о том, что из продуктов она может приготовить.

Однажды Даун рассказывал ей о достоинствах некоторых французских писателей. Во время обеда они сели за блюдо, которое голодный школьник мог бы проглотить за один раз. Даун прокомментировал:

“Это паштет по-Мопассану,” сказала госпожа Даун. “Может, это и не искусство, но я бы хотела, чтобы ты написал сериал из пяти частей с марион Крофорд с сонетом Этты Уиллер Уилкоккс в качестве десерта. Я голодна.”

Вот такова была ситуация у Шаклфорда Дауна, когда он схватил рукав редактора Вестбрука в Мэдисон-Сквер. Это был первый раз, когда редактор видел Дауна несколько месяцев.

“Да что ты, Шак, это ты?” — сказал Вестбрук несколько неловко, так как эта фраза как будто касалась его изменившегося внешнего вида.

“Сядь на минутку,” сказал Даун, дергая его за рукав. “Это мой офис. Я не могу прийти к тебе, выглядя как я. Сядь — ты не позоришься. Те полуперья на других скамейках подумают, что ты богатый. Они не поймут, что ты просто редактор.”

“Куришь, Шак?” — сказал редактор Вестбрук, осторожно садясь на зеленую скамейку. Он всегда элегантно уступал, когда соглашался.

Даун схватил сигару, как королек хватает рыбу, или как девушка откусывает шоколадку.

“Я только что...,” начал редактор.

“О, я знаю; не продолжай,” сказал Даун. “Дай мне спичку. У тебя есть десять минут. Как тебе удалось пройти мимо моего мальчика и вторгнуться в мой святилище? Вот он идет, бросая свою дубинку в собаку, которая не может прочитать знак ‘Не ходить по траве’.”

“Как идет писательство?” — спросил редактор.

“Посмотри на меня,” сказал Даун. “Вот тебе ответ. Не надо выглядеть так, как будто ты хочешь быть добрым, но честным, и спрашивать, почему я не устроился на работу агентом по винам или таксистом. Я в этой борьбе до конца. Я знаю, что могу писать хорошую литературу, и я заставлю вас признать это.” Теперь, несмотря на невозможную перспективу, фотография всё же может зафиксировать мимолётный взгляд правды. Но ты портишь каждый финал этими плоскими, тусклыми, уничтожающими мазками своей кисти, о которых я так часто жаловался. Если бы ты поднялся до литературного пика своих драматических сцен и написал их в тех ярких цветах, которые требует искусство, почтальон оставлял бы у твоей двери меньше громоздких самоупакованных конвертов.

«О, вздор и светомузыка!» — насмешливо воскликнул Даун. «Ты всё ещё заиклен на этой старой драме с пилорама. Когда человек с чёрными усами похищает золотокудрую Бесси, ты обязательно заставишь мать опуститься на колени и поднять руки в свете софитов, произнося: “Да будет свидетелем высокое небо, что я не буду отдыхать ни днём, ни ночью, пока бездушный злодей, похитивший моё дитя, не почувствует тяжесть материнской мести!”»

Редактор Уэстбрук с улыбкой признал правоту.

«Я думаю, — сказал он, — что в реальной жизни женщина бы выразилась именно такими словами или очень похожими».

«Не в течение шести сотен ночей подряд ни где, кроме сцены,» — горячо ответил Даув. «Я скажу тебе, что она бы сказала в реальной жизни. Она бы сказала: “Что! Бесси увели с каким-то незнакомцем? Господи! Это уже ещё одна беда! Где был кто-то, кто должен был за ней следить? Сколько раз я тебе говорила? Господи, дай мне второй головной убор, мне нужно спешить в полицейский участок. Почему никто не присмотрел за ней, мне интересно. К чёрту, уйди с дороги, или я никогда не успею. Не тот головной убор, коричневый, с бархатными бантиками. Бесси должно было сойти с ума, она обычно избегает чужих. Сильно ли я нарядилась? Как я расстроена!»»

«Вот как она говорила бы,» — продолжил Даув. «Люди в реальной жизни не превращаются в героев трагедий и не говорят стихами в моменты эмоциональных кризисов. Они просто не могут так делать. Если они вообще говорят что-то в таких случаях, они используют тот же словарный запас, что и каждый день, и просто немножко запутывают свои слова и идеи, вот и всё.»

«Шак,» — сказал редактор Уэстбрук с выражением, полным учтивости, — «ты когда-нибудь поднимал из-под бампера трамвая искалеченное тело ребёнка и нес его на руках к обезумевшей матери? Ты когда-нибудь делал это и слушал слова горя и отчаяния, которые она произносила?»

«Никогда,» — сказал Даув. «А ты?»

«Ну, нет,» — с небольшой нахмуренной улыбкой сказал редактор Уэстбрук. «Но я могу представить, что она сказала бы.»

«И я могу,» — сказал Даув.

И вот наступил подходящий момент для того, чтобы редактор Уэстбрук стал оракулом и заставил умолкнуть своего самоуверенного автора. Не для пришедшего в никуда писателя было диктовать слова, которые произнесли бы герои и героини в журнале Минерва, вопреки теории редактора.

«Милый Шак,» — сказал он, — «если я что-то знаю о жизни, так это то, что каждая резкая, глубокая и трагическая эмоция в человеческом сердце вызывает соответствующее, согласованное, пропорциональное и согласованное выражение чувств. Сколько из этого неизбежного согласия между выражением и чувствами можно отнести к природе, а сколько к влиянию искусства, трудно сказать. Громкий и ужасный рычание львицы, лишенной своих детенышей, драматически в разы выше её обычного ворчания и урчания, так же как царственные и возвышенные слова Лира намного выше уровня его старческих бормотаний. Но также правда, что все люди и женщины обладают тем, что можно назвать подсознательным драматическим чувством, которое пробуждается мощным и глубоким чувством — это чувство неосознанно

перенятое из литературы и сцены, что побуждает их выражать эти чувства на языке, соответствующем их важности и драматической ценности.»

«А где же сцена и литература научились этому приёму?» — спросил Даув.

«От жизни,» — с триумфом ответил редактор. Два экспериментатора в искусстве покинули площадь и поспешили на восток, а затем на юг, пока не оказались в районе Грэмэрс. Внутри его высоких железных ограждений маленький парк облачился в свой нарядный весенний зелёный костюм и любовался собой в своём фонтане. За ограждениями квадрат из разрушающихся домов, оболочки ушедшей аристократии, наклонились, как будто шептались в призрачной беседе о забытых деяниях исчезнувшей знати. *Sic transit gloria urbis.*

На один или два квартала к северу от парка Даув снова направил редактора на восток, затем, пройдя короткое расстояние, завёл его в высокий, но узкий дом с богатой, чрезмерно украшенной фасадной стороной. На пятый этаж они взобрались с трудом, и, задыхаясь, Даув вставил свой ключ в дверь одной из передних квартир.

Когда дверь открылась, редактор Уэстбрук увидел с жалостью, как скромно и бедно обставлены комнаты.

«Возьми стул, если найдёшь,» — сказал Даув, — «пока я найду ручку и чернила. Ну что это? Вот записка от Луизы. Должно быть, она оставила её здесь, когда ушла утром.»

Он поднял конверт, который лежал на центральном столе, разорвал его и начал читать письмо, которое извлёк из конверта. Начав читать вслух, он так и дочитал его до конца. Вот что услышал редактор Уэстбрук:

ДОРОГОЙ ШАКЛФОРД,

«Когда ты получишь это, я буду уже примерно в ста милях отсюда и по-прежнему в пути. Я устроилась в хор Общественной Оперы и мы выезжаем в тур сегодня в двенадцать часов. Я не хотела умереть с голоду, и поэтому решила зарабатывать на жизнь сама. Я не возвращаюсь. Миссис Уэстбрук едет со мной. Она сказала, что устала жить с сочетанием граммофона, айсберга и словаря, и она тоже не возвращается. Мы репетировали песни и танцы два месяца потихоньку. Надеюсь, у тебя всё будет хорошо, и ты справишься. Прощай.

ЛУИЗА.

Даув уронил письмо, накрыл лицо дрожащими руками и воскликнул глубоким дрожащим голосом:

«Боже мой, зачем Ты дал мне эту чашу? Если она предала, то пусть Твои самые прекрасные дары — вера и любовь — станут шутливыми крылатыми словами предателей и друзей!»

Очки редактора Уэстбрука упали на пол. Пальцы одной руки зашевелились с пуговицей на его пальто, и он пробормотал сквозь свои бледные губы:

«Слушай, Шак, разве это не чертовски ужасная записка? Разве она не сбила бы тебя с ног, Шак? Ну, разве это не ад, Шак — разве нет?»

После одного часа в Руни

Только на нижнем восточном побережье Нью-Йорка выжили дома Капулетов и Монтекки. Здесь они не сражаются по книге арифметики. Если вы только укусите свой палец в сторону поддерживающего дом вашего противника, вам предстоит работа для вашего клинка. На Бродвее вы можете тащить человека за нос через десяток кварталов, и он будет только кричать на стражу; но в области Восточного Сайда, где Тибальты и Меркуцио, вам придется соблюдать все тонкости поведения до малейшего подмигивания глазом и до дюйма личного пространства у бара, когда среди его посетителей окажутся враги вашего дома и родных.

Так, когда Эдди МакМанус, известный Капулетам как Корк МакМанус, зашел в «Датч Майк» за кружкой пива и столкнулся с компанией Монтекки, развлекающихся пивом, он начал соблюдать самые строгие парламентские правила. Вежливость запрещала ему покинуть салун с неутоленной жаждой; осторожность велела ему занять место у бара, где зеркало позволяло наблюдать за движениями врага, которых его безразличный взгляд, казалось, презирал; опыт подсказывал ему, что палец беды будет занят среди болтающих пивных кружек в «Датч Майке» в эту ночь.

Рядом с ним стоял Брик Клири, его Меркуцио, спутник его прогулок. Так они стояли, четверо из банды Малберри-Хилл и двое из банды Драй-Док, так заботливо следя за своим поведением, что Датч Майк держал один глаз на своих клиентах, а другой на открытом пространстве под своим баром, в котором он обычно искал укрытие, когда зловещая вежливость конкурирующих ассоциаций превращалась в пули и холодное железо.

Но мы не будем заниматься войнами Малберри-Хилл и Драй-Док. Мы должны отправиться в Руни, где, на самой унылой мертвой ветке дерева жизни, распустится маленькая бледная орхидея.

В конце концов, перегруженная этикетом ситуация дала трещину. Неизвестно, кто первым переступил границы пунктуальности, но последствия были

немедленны. Бак Мэлоун из Малберри-Хилл с быстротой, напоминающей Дуэя, развернул восьмидюймовое орудие...

